

АЛЕКСАНДР
ДУГИН



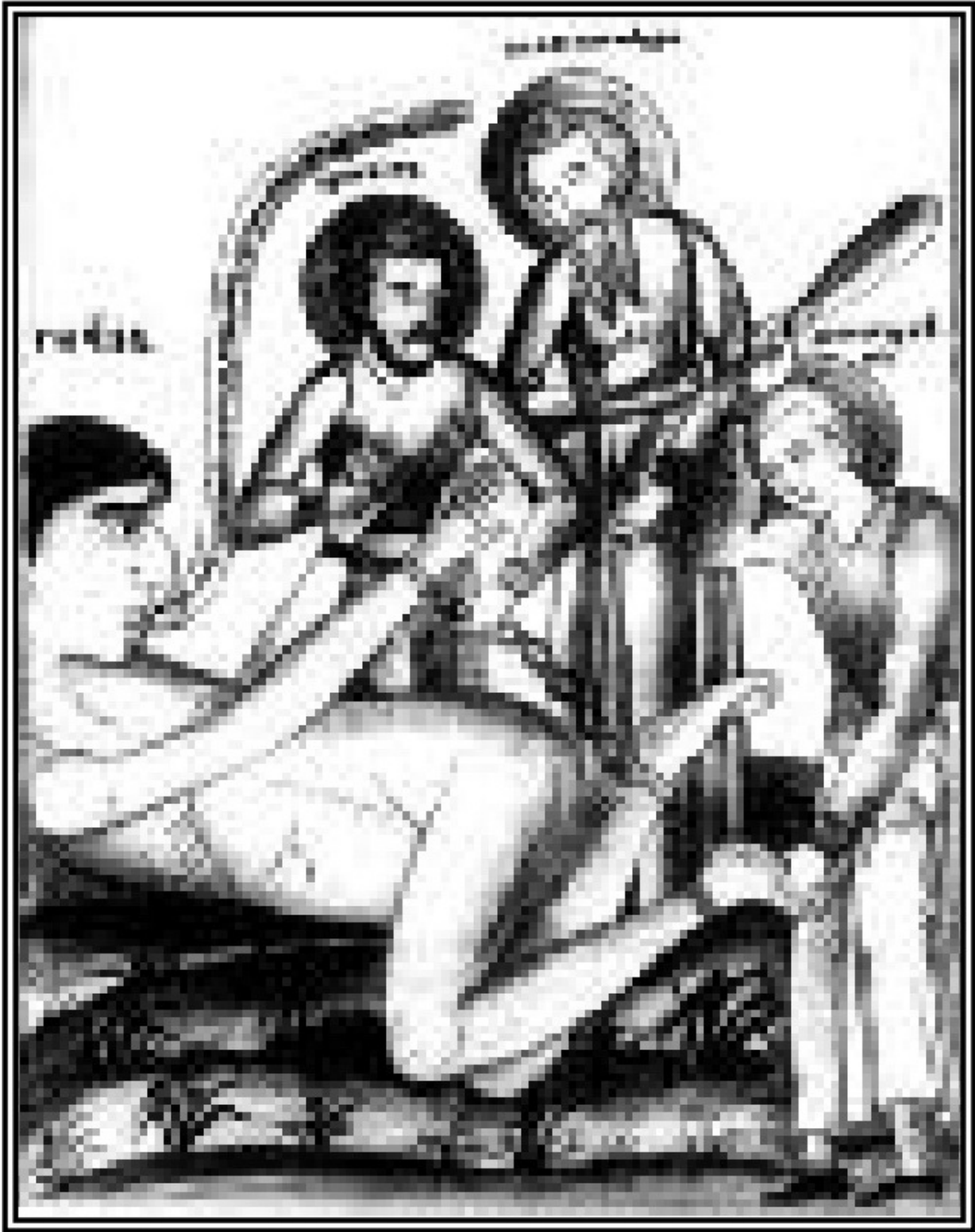
РАДИКАЛЬНЫЙ
СУБЪЕКТ
и его
ДУБЛЬ

Дугин А.

Радикальный Субъект и его дубль

Москва

2009



Глава 1. (ПОСТ)СИТУАЦІЯ ПОСТМОДЕРНА

(лекция №1 Нового Университета-2 – 2004 г.)

Сдвиг парадигм

Сегодня происходит фундаментальный сдвиг парадигм по сравнению с ситуацией модерна, Нового времени. Он столь же фундаментален, как и переход к модерну от премодерна, традиционного общества. Характер, содержание и качество этого перехода составляет нерв современной эпохи. Самое главное сегодня – корректно понять сущность происходящего, точно и адекватно ее интерпретировать.

Переход от модерна к постмодерну позволяет окончательно осознать сущность самого модерна. Это можно сделать только сегодня (а не вчера) именно потому, что теперь мы видим перед нами весь период модерна как нечто законченное и завершенное – от начала и *до конца*. А значит, мы можем выносить окончательное суждение о нем, не беспокоясь о том, что в его рамках осуществляются какие-то неожиданные и непредсказуемые парадигмальные метаморфозы.

Здесь самое время обратиться к пониманию модерна традиционалистами, которые совершенно корректно определяли его сущность как тотальное и всеобъемлющее отрицание парадигмы Традиции, премодерна. Модерн был *процессом отрицания*, но это отрицание имело собственную структуру, логику, свой стиль и свои нормативы. Модерн структурировался как язык, обратный языку Традиции, и это составляло его суть.

Модерн как процесс отрицания исчерпал свое содержание

Постмодерн как радикально новый этап основан на том, что процесс отрицания (т.е. собственно модерн) исчерпал свое содержание, свой смысл. Отрицать больше нечего (по меньшей мере, на Западе, где модерн как программа и был задуман и реализован). Премодерн исчерпан, избыт окончательно, следовательно, модернизации больше нечего подвергать, и *модерн теряет смысл*. Модерн завершен. Мы живем отныне не в современном, но в *пост-современном мире*. Мы живем в том, что называется «завтра», «завтра» наступило, причем такое, после которого никакого иного «завтра» уже не наступит.

Модерн закончен и закончено отрицание Традиции. Но *конец отрицания Традиции не означает ее нового утверждения*. Смысл постмодерна не в том, чтобы заместить отрицание новым утверждением, но чтобы заменить отрицание новым парадоксальным действием или жестом – *не-отрицанием*, которое одновременно не являлось бы и утверждением, т.е. таким *не-отрицанием*, которое одновременно было бы и *не-утверждением*.

На уровне языков происходит радикальная ломка всей парадигмальной матрицы – премодерн/модерн ⁽¹⁾. Язык Традиции представляет собой стартовую структуру, имеющую четкую базовую организацию с неограниченно широкими возможностями вариаций. Язык современности строится таким образом, чтобы выдвинуть против каждого парадигмального элемента языка Традиции функциональный антитезис (цикл – история, вечность – время, сакральное – профаническое, божественное – человеческое, целостное – частное и т.д.). Совокупность этих антитезисов выстраивается в *самостоятельную структуру*, которая и составляет язык современности, вдохновляемый стихией отрицания. Но поскольку современность отталкивается от четкой структуры премодерна, то и сама она – как симметричный противо-образ – получает четкую структурированность, свои абсолютные ценности, свой философский, интеллектуальный, гносеологический и онтологический фундамент. Последовательное «нет», утверждаемое в отношении всех аспектов Традиции, порождает строгую решетку смыслов и ценностей, методик и структур. И на определенном этапе возникает парадигма модерна,

утверждаемая с созидательным и ценностным пафосом с таким напряжением, что отрицание, лежащее в основе всей программы Нового времени, затушевывается, пропадает из виду. Модерн создает нечто свое и обретает видимость полной автономии. Это высокий модерн, оптимистический модерн, стилистически и эмоционально оторвавшийся от своего базового импульса, являющегося фундаментально нигилистическим. Именно такой «высокий модерн» порождает иллюзию современности как автономной и самодостаточной *утвердительной* парадигмы, черпающей энергию в своей собственной эволюционной программе. Но именно этот «высокий модерн» и получает самый сильный удар со стороны постмодерна, который безжалостно возвращает модерн к его истокам: модерн справился со своей задачей по искоренению Традиции и ее языка, но вместе с тем он полностью исчерпал свою функцию; отныне его созидательный пафос не уместен, а там, где на нем чрезмерно настаивают, есть все основания считать, что к нему незаметно примешался язык Традиции, породив абсолюты и ценности там, где задача была уничтожить все абсолютное и релятивизировать все ценности. Постмодерн это и продолжение модерна (тогда его корректно определить как «ультрамодерн»), и преодоление модерна (тогда его название «постмодерн» следует принять без всяких поправок). При переходе к постмодерну модерн расщепляется: то, что в нем было строго отрицательным (в отношении парадигмы Традиции) – продолжается и сохраняется, то, что примешалось к этому отрицанию от предыдущей фазы (от премодерна), то отбрасывается. Так постмодерн абсолютизирует истинную нигилистическую программу модерна, предъявляя ее без обиняков и экивоков. Но уже не в качестве того, что следует сделать, не как проект или программу, а как описание свершившегося факта – как отчет или акт о сдаче объекта.

Постмодерн порывает с модерном как со структурой, с парадигмой, смешивает его очевидности, сваливает его абсолюты, осмеивает его ценности. Для постмодерна отныне все равно: что язык модерна, что язык премодерна, постмодерн отбрасывает оба языка, смешивает их до неузнаваемости, издевается в равной степени над обоими. Для постмодерна не важно ни утверждение (премодерн), ни его отрицание

(модерн), он причудливо сливает разрозненные фрагменты обоих языков в нечленораздельную речь. Так возникает пародийная глоссолалия постмодерна, его холодное кликушество, ироничное и строго рассчитанное косноязычие.

Премодерн как странность

Постмодерн воплощает в себе странность в чистом виде.

Модерн это процесс десакрализации. Последняя идеология модерна – либерализм – это оптимальный вариант чистой десакрализации, концептуальное состояние, в котором десакрализация достигает своего пика. Десакрализация доходит до такой степени, что сакральное не видится более чем-то формально противоположным реальному, чем-то внешним, что требуется преодолеть и изжить. Сакральное перестает существовать вовсе, но значит, и десакрализация, составляющая сущность либерализма как синтеза модерна, теряет смысл и бытие. Значит, чтобы выжить десакрализация должна теперь сама учредить сакральное. Но такое сакральное будет по определению фикцией, симулякром. Это некое пост-сакральное начало, симулированный абсолют.

Симулированная сакральность составляет основную матрицу парадигмы постмодерна, основу его языка. Этот язык – *странный язык*.

Традиция как параллельный язык в эпоху модерна

Предложенная выше схема является весьма приблизительной, она отражает чистую сущность процессов, их обобщающие вектора. Дело в

том, что на практике история модерна – т.е. современности – постепенно вытесняла язык Традиции только на поверхности, в глубине бессознательного его парадигмы были чрезвычайно устойчивы и сильны. Сплошь и рядом бессознательному (языку Традиции) удавалось перетолковать сознательное (язык современности) в свою пользу. Так возникали смешанные формы «нечистого модерна» (2), примерами которых являются такие политические идеологии как фашизм или коммунизм. Это – крайний случай, но и в самих либеральных странах премодерн из сферы подсознательного постоянно пробивался в область сознательного, порождая причудливые явления, моды, увлечения, экстравагантные течения, философии и т.д.

Постмодерн наступает тогда, когда процесс модернизации завершается на уровне сознания. Но тут в дело включается бессознательное, которое отныне получает свободу выйти из-под пресса жестких модернистских установок. Параллельный язык вырывается на свободу, но тут-то обнаруживается, что за период своего «подпольного» существования, своего «тюремного срока» в трюме корабля современности, он полностью выродился, фрагментировался, утратил цельность, и отныне представляет лишь *пародию на Традицию*.

Сакральное в постмодерне поднимается из бессознательного в сознательное, и сознательное более не чинит ему препятствий, но только на одном условии: *премодерн всплывает как он есть, в разрозненном, расчлененном состоянии*, и на уровне сознания нет и не может быть никакой интегрирующей модели, никакой ясной и структурированной парадигмы, которая выступила бы *центром* для собирания этих элементов в новое целое, в новое издание Традиции. Сакральное «реабilitируется» только как *остаточное, разрозненное, рассеянное, распыленное, причудливое и сновиденческое*, и берется отвлеченно и иронично, с дистанцией, как нечто экстравагантное и эксцентричное, призванное лишь слегка подогреть стремительно остывающий ультра-рациональный мир милым и невинным бредом.

Сатана и проблема предшествования

В книге «Философия Традиционализма» я говорил о «сатане и проблеме предшествования»⁽³⁾. Прежние формы сакральности, предшествующие новым формам, даже в эпоху Традиции (премодерн) как правило «демонизируются», отправляются в «ад», превращаются в злых духов и ложных богов. Предыдущие структуры сакральности, отмененные новыми формами, как правило, зачисляются во владения «сатаны». Сатана – собирательная фигура «расчлененного сакрального».

В постмодерне сакральное всплывает именно в таком качестве – как нечто расчлененное, остаточное, разрозненное и никак не способное заново собраться. Как демоны изображаются в традиционной иконографии в виде монстров, искаженных существ, в которых перемешены звериные, человеческие и механические черты, где все пропорции и детали искажены и обезображены, так и язык Традиции появляется в постмодерне из сферы бессознательного именно в этой демонической стилистике, как *сатанизм*. То, что предшествовало модерну, исказилось в погребке Нового времени и поднимается сейчас из черных подвалов с обезображенными чертами.

По сути как пародия и симулякр, не как Традиция, но как «*обезьяна Традиции*» (ведь говорят, что «сатана есть обезьяна Бога»).

Словарь постмодерна

Традиционализм системно и методично показывает, как меняется язык при переходе от премодерна к модерну⁽⁴⁾. Все концепции, имена, вещи, пропорции становятся качественно иными. В ходе этого процесса язык

модерна заменяет собой язык Традиции, и постепенно становится вездесущей и тотальной парадигмой, предопределяющей любой дискурс – от самого философского и изысканного, до самого рудиментарного и бытового. В словаре модерна все позиции качественно отличаются от словаря Традиции. Основные понятия и систему их соответствий в обоих словарях мы тщательно рассмотрели в «Философии традиционализма»⁽⁵⁾. Парадигмальный сдвиг в соответствующих языках достаточно полно описан и в моих книгах и в традиционалистской литературе в целом.

В постмодерне мы сталкиваемся с еще одним сдвигом, который подводит нас к образованию нового словаря – словаря постмодерна. Речь идет не только о неологизмах, появившихся в ходе описания процессов постмодерна в философской лексике, но – и это намного важнее – о фундаментальном изменении смыслов, вкладываемых в самые обычные слова и понятия, которые еще вчера мы с полной уверенностью произносили и истолковывали в системе координат модерна. Ни одно привычное понятие в постсовременности не означает того же, что оно означало в период модерна. Практически к любому из них для корректного использования следует отныне прибавлять приставку – «пост-». Это своего рода индексация новой эпохи, нормативное требование к переводу, без которого коммуникация будет отныне невозможна. Строго говоря, даже простейшие понятия – такие как «все», «реальность», «слово» и т.д. – отныне нуждаются в коррекции. В постмодерне нет «всего», есть только «пост-все»; нет «реальности» -- есть «пост-реальность»; нет «слово» -- есть «пост-слово» и так далее.

Пост-наука

Несколько примеров. В постмодерне некорректно говорить о науке. Наука, как ее понимал модерн – в духе позитивизма и постпозитивизма

– закончилась ⁽⁶⁾. Вместо нее отныне существует «пост-наука», совмещающая на междисциплинарной основе подходы ранее несовместимые – научная методология соседствует с психологией глубин, рациональные методики с иррациональными, лабораторные опыты с креативным эстетическим дизайном. Наука в эпоху модерна рассматривала организмы как усложненные механизмы (Декарт, Ламетри и т.д.). Пост-наука теоретически и практически уравнивает механизм с организмом, отказываясь проводить разграничительную черту между ними. Так возникает теория киборга, синтеза человека и машины. Компьютеры стараются симулировать живые формы (от механизма к организму), а люди ищут способа интегрировать машинные возможности в свои организмы – отсюда культ допинга в спорте, эксперименты по вживлению в человеческое тело сенсоров, датчиков и микрочипов, клонирование и генная инженерия.

Наука изобретала механизмы, пост-наука – пост-механизмы, *нечто среднее между механизмами и организмами*, между живым и неживым. Эта область между одушевленным и неодушевленным -- в центре внимания науки постмодерна. С одной стороны, мы возвращаемся здесь к идее премодерна о пан-витализме (или «гилозоизме» аббата Телезио), т.е. о наличии живых энергий («душ») в каждой материальной вещи; это шаг в сторону Традиции. Но с другой стороны, характер обращения с вещами и предметами, стремление искусственно вмешаться в природные процессы и утилитарно и коммерчески использовать это вмешательство отражают типично позитивистский и сугубо современный подход.

Постнаука наглядно дает о себе знать в современной физике – в теории суперструн, фракталов и «странных аттракторов», физике хаоса и т.д.; в биологии – работа над геномом и клонированием; в психологии – квантовая психология, синхронизм; в гуманитарных науках – междисциплинарный подход, философия «постмодернизма» и т.д.

Пост-человек

Вместо человека модерна, который еще совсем недавно был «мерой вещей», приходит новое явление. В постмодерне появляется *пост-человек*. Человек модерна представлял собой «индивидуума», т.е. атомарную неделимую сущность, с предполагаемой автономностью. Он в отличие, от человека Традиции, *не обозначал никого кроме самого себя*, будучи верховной и главной инстанцией, последней ценностью и центральным актором мирового процесса. Реальность в модерне виделась антропоцентричной, в центре ее был «человеческий факт»⁽⁷⁾.

Человек модерна был нерасчленимой цельностью, как до него этой цельностью был Бог монотеистических религий и сакральные силы домонотеистических традиций. В постмодерне эта цельность и центральность человека отменяются. А значит, старого знакомого человека больше нет. На смену ему приходят пучки импульсов, случайные агломерации биостратегий, хитросплетения механизма желаний. *Пост-человек постмодерна принципиально дивидуален, т.е. этимологически «делим»*. Он может произвольно перекомпоновывать свою идентичность психологически и физиологически – меняя характер, убеждения, органы и пол. В нем не остается ничего константного, он сборная конструкция, в которой большинство элементов могут быть заменены.

Вместе с тем, *пост-человек не единственен, но множественен*. Он может быть клонирован – в будущем физически, а сегодня виртуально, выбирая себе множество симуляционных идентичностей – в компьютерных играх, в общении через сеть Интернет, в многообразии игровых ситуаций, предлагаемых структурой общества постмодерна.

Архетип – успешный менеджер, причем совершенно не важно, чем конкретно он занимается, продажей пиццы или консалтингом политических партий, нефтью или академическим институтом. Менеджер в теории универсален, и способен адаптироваться к любой профессии. Открытый мир и глобализация позволяют произвольно менять места обитания, имена, места работы и т.д.

Генная инженерия в скором будущем завершит этот постмодернистический процесс, и сегодняшние люди модерна (как устаревшие конструкции) будут полностью заменены клонами, киборгами и мутантами. Еще более «успешными» менеджерами.

Пост-общество

Нет больше в постмодерне и общества. Есть пост-общество. Модерн представлял собой переход от жесткой иерархизации, основанной на иррациональных (сакральных) принципах, к демократической и рационально структурированной системе, называемой «обществом» или «гражданским обществом» на языке модерна. Общество – на латыни *socium* – означает искусственно выстроенную систему связей между индивидуумами, которая заменяет собой органически сложившуюся в истории иерархически-кастовую или сословную модель. *В постмодерне социальная система связей отменяется, превращаясь в динамичную сеть*, которая выстраивается не на рациональных, а на произвольных принципах между одним пост-человеком и другим, без всяких оснований, по случайности, капризу или прихоти, независимо от территориальной, национальной, культурной или государственной принадлежности каждого из них.

Возникает пространство «компьютерных зарослей» с экзотическим полуприродным, полумеханическим антуражем.

Исчезает традиционная политика, превращаясь в «микropolitику желаний», следование случайным настроениям в ситуациях почти ничего не значащего выбора, или в медиа-политику, которая сводится к визуальному соучастию в спектакле на политическую тему, не требующему от зрителя никакого реального выбора, решения или действия. В пост-человека закладывается информация, а потом по условному сигналу вызывается. Симуляция объекта выбора (некорректно сформулированная проблема плебисцита или опроса)

дублируется симуляцией самого выбора. Политика развоплощается вплоть до своего исчезновения. Институты демократии истончаются до чистого духа демократии, а дух превращается в духи, парфюм.

Пост-история

Истории в постмодерне больше нет. Не было ее и премодерне, там царствовал цикл. Модерн поместил бытие в процесс времени, наделив время смыслом, содержанием и векторной ориентацией, а постмодерн потерял это бытие, не обнаружил его там, где оно находилось в Новое время. Так началась пост-история (Ж.Бодрийяр), время, лишенное смысла, чистое время, сетевое время, время как деньги, как чистый бессмысленный процесс.

История кончилась (Фукуяма), на ее место пришло рециклирование, алеаторный код случайных модуляций, приливы и отливы мод, не оставляющие следа на песке человечества.

Пост-история основана на постоянном *рециклировании* прежнего, так как ничего нового принципиально не происходит и произойти не может, значит остается только повторять старое, освобожденное от содержания – и от того, которое оно имело в премодерне, и от того, которое оно имело в модерне.

Пост-государство

Постмодерн не знает больше национальных государств, вместо них создается единое Мировое Государство (World State) планетарного масштаба, строго совпадающее с пост-обществом. Это процесс

глобализации, случайного соединения пост-человеческой массы мириадами динамических сетей. В политологии постмодерна это называется «Империей»⁽⁸⁾. Глобальная «Империя» транснациональна и представляет собой систему тотального контроля нового поколения – контроль осуществляется не над отдельными личностями или коллективами, а над парадигмами сетей – операционными системами, протоколами, доступом, фильтрами, программным обеспечением и т.д. Это -- softpower, управление с помощью первичных мотиваций (биополитика), а в перспективе – генного программирования. В мировом пост-государстве все одновременно предельно свободны и предельно предсказуемы (т.е. запрограммированы). Сеть тотальна, и все что вне сети не существует. Это матрица.

Пост-тело

Пост-человек утрачивает самое дорогое и понятное человеку модерна, базис (Лакан) – свое тело. Будучи композитным и программируемым тело утрачивает уникальность, а возможность мультипликации компьютерных, ролевых и сетевых идентичностей делает его условностью. Возникает свободный *электронный двойник*. Тело превращается в тень. *Тень – это пост-тело, тело постмодерна*. Оно прозрачно, рекомбинируемо, голографично -- в перспективе подлежит телепортации, так как является лишь цифровым кодом. В постмодерне тело окончательно становится «протезом» в этимологическом смысле – т.е. «чем-то замещающим данность». Сублимируясь в экстатическое «тело наслаждений» (тело без органов Арто) при случайном энергетическом приливе, оно рассыпается в энтропическую пыль при отливе так, что грань между жизнью и смертью, одним пост-человеком и другим постепенно стирается. Остаются тени – пляшущие, кривляющиеся, сходящиеся и расходящиеся в мозаичном и дробном круговороте.

Тень отрывается от предмета, получает самостоятельность. Тело не отбрасывает больше тени, будучи отмытым и оцифрованным в режиме hyperclean. Наоборот, тень отбрасывает тело, порождая его в причудливой каденции случайных перемещений и трансформаций.

Пост-эротика

Время эроса, так беспокоившего мыслителей модерна, стремившегося его освободить, уходит, наступает эпоха пост-эротизма. Производство потомства осуществляются новыми способами в рамках деления, стерильного и серийного штампования. Наслаждение доставляется сетевыми симуляторами, интенсивно программирующими сенсорные датчики. Влечение, желание изолируется от субъекта и объекта, получает автономное бытие и становится достоянием сетей. Наслаждение (эрос) = подключение; травма (танатос) = отключение, обрыв связи.

Постлюди тяготеют к стилю юнисекс, пародийно воспроизводящему андрогинию – как архетип цельности премодерна.

Пост-пространство (офитическая сеть)

Пространство становится виртуальным, сетевым. Это совокупность змеевидных и паутинообразных проводов, по которым циркулируют в бешеном ритме кванты информации. Скорость передачи информации, возрастая до определенной критической черты, по сути, отменяет физическую дистанцию, а вместе с ней – ландшафт, географию, климат (климат-контроль). Пост-человек одновременно пребывает в разных местах, вплоть до симуляции билोकационных явлений, свойственным

в премодерне лишь святым или колдунам. Оптические сети позволяют снять пространство как то, что разъединяет и соединяет, оно становится дробным и прерывным, квантированным. Здесь важны не расстояния, а орбиты.

Пост-деньги

Отменяются деньги, вместо них – электронные потоки. Так как субсистенцию гарантирует сеть, то порядок купли\продажи и работы\заработка теряет смысл. Подключаясь к электронным потокам, пост-человек автоматически становится в вихрь обмена, этим жестом он и платит, и получает, так как генерирует электронный поток своего сетевого присутствия и воспринимает сетевые импульсы. Если и в модерне настоящие богачи больше служат деньгам, чем владеют ими (по формуле Гобсека), то в постмодерне деньги полностью пресуществляются в массу капитала, которая, в свою очередь, сливается с парадигмой мировой сети.

Пост-экономика

На смену экономики приходит пост-экономика, как следующий этап становления «новой экономики» или «финансизма». Рыночный фундаментал окончательно испаряется, структура спроса и предложения переводится в причудливые узоры графиков технического анализа, пока смыслом биржевых сделок не станет чистое наслаждение игрой ценовых трендов, а брокеры не превратятся в дзэн-буддистских созерцателей, полностью лишенных азарта обладания и делающих ставки по логике «быков» или «медведей» в стиле бесстрастного самурайского ритуала.

Постреальность

Для термина аналогичного термину «реальность» в постмодерне есть особое понятие «виртуальность». «Виртуальным» в обычном философском словаре (модерна) называется то, что может осуществиться как реальное, но пока остается в нереализованном состоянии – в качестве наброска, плана, проекта или макета. В постмодерне реальности, которую знает уютный и оптимистический позитивизм, более не существует, и остается только «виртуальность». «Может быть» отныне строго тождественно с «есть». *То, что может быть, уже есть, а то, что есть, это лишь то, что может быть.*

Постмодерн не возврат к Традиции

В тезаурусе постмодерна явно разрывается нить языковой парадигмы модерна. И здесь начинается зона колоссального риска. Процесс постмодерна запускает поднятие затопленного континента, экскавацию и реанимацию погребенных примордиальных могуществ, пробуждение древних захороненных сил. Задача постмодерна в том, чтобы эти силы, проснувшись, не выстроили бы свой порядок, – это было бы возвращением Традиции, и модерн оказался бы в таком случае лишь короткой и случайной интерлюдией в вечных ритмах премодерна, -- но попались бы в сеть, уловленные хитрыми и искусными охотниками. И попавшись в сеть, они призваны оживить своей агонией движение искусного мирового механизма, глобального аппарата, который будет переводить их слепую мощь в кванты сублимированной информации, стремительно бегущей по змеиным проводам.

Это как бы ад, но на самом деле не ад.

Демон как актер постмодерна

Человек был «актером», главным деятелем модерна. Он был его субъектом. Пост-человек, приходящий ему на смену, не является ни субъектом, ни актером. В постмодерне он не главный. Элемент среди многих других. Здесь доминируют иные принципы: с одной стороны, сетевая парадигма, которая выступает как безличный абсолют, программирующий всю операционную среду в глобальном масштабе, а с другой, *квантовый импульс свободной энергии*, нагнетающейся и разряжающейся внезапно, вспыхивающей подобно молнии и исчезающей в непроглядной тьме бесконечных экранов, сходящихся к оптике зеркала. Этот импульс можно назвать «демоном». На языке постмодерна.

Демон – тот, кто живет и действует в сети. Он без предупреждения низвергается на пост-человека, пронзает его, заставляя трепетать, а потом также внезапно покидает. Пост-люди группируются вокруг демонов, структурируются вокруг их присутствия, как вокруг мгновенной оси. Демоны действуют как источник наслаждения, боли, резкого ощущения наличия бытия, возвращая сонное пост-человеческое мерцание к интенсивному и отчетливому фокусу. Только в момент прихода демона пост-человек понимает, что он есть (пусть и виртуально) и что есть нечто вокруг него. Это как искра пробуждения, импульс жизни, движение, толчок, жест, состояние, влечение, электрический заряд.

Демон организует процесс, вливает огромный заряд сил, структурирует ситуацию, придавая ей смысл, значение, распределяя роли, активируя волю и свежесть восприятия. Демон передает виртуальному пространству и виртуальным ситуациям динамику и осмысленность; он выступает временным демиургом, по сути, создавая для пост-человека или группы пост-людей целый мир – со своими правилами, законами,

нормами, драмами, сюжетами, коллизиями, сценариями, распределением побед и поражений.

Внутри озаренного демоном сегмента сети возникает логика и смысл, четкая структуризация и систематизация.

Но бытие демона очень краткосрочно. Его специфика в том, что он никогда надолго не задерживается, быстро покидает сетевой кластер и произвольно и неспровоцированного возникает в ином месте, проявляясь через других пост-людей или иные сетевые явления.

В постмодерне все – война, бизнес, наука, культура, производство, быт, досуг, управление – определяется наличием «демона» как странного аттрактора. Он есть, и ситуация обретает смысл. Его нет, и все рассыпается, рассасывается, соскальзывает в энтропию.

Так, в постмодернистском кино, например, у Тарантино в «Криминальном чтиве» и в других картинах. Нет сюжета, нет логики, нет героев, нет системы отношений, нет инсайта в психологию и экзистенциальную проблематику действующих лиц. Есть только вспышки ситуаций, нагруженных причудливым присутствием какой-то ускользающей от классического восприятия сущности. Либо ситуация разворачивается в повышенном энергетическом напряжении, либо срывается в вялую бессмысленность, наполненную псевдо-символическим мусором (так называемая «wanton symbolization»).

Пост-система

Вспышки демонического присутствия порождают остывающие траектории, которые живут ограниченный срок – как следы от быстро движущегося огня некоторое время остаются там, где огня уже нет. На мгновение освещенное эфемерным смыслом сетевое пространство

сохраняет привкус стройности и связности, который постепенно рассасывается.

Пост-система формируется как поле капризной активности демона, развернутое и структурированное им. В нем он действует некоторое время, подстраивая под свои цели имеющиеся в наличии элементы сети или формируя новые. В пределах пост-системы все наделено смыслом и значением, процессы протекают логично и содержательно. Но не надолго.

Пост-система – остывающий край энергии демона. Она сохраняется какое-то время и после удаления демона, но потом начинает быстро рассеиваться. Пост-системы складываются параллельно и последовательно в хаотическом ритме. Из них составляются новые карты виртуальности, чья отличительная черта -- подвижность и турбулентность. Здесь нет фиксированных параметров, четких ландшафтов, постоянных участников, ясных нормативов и закономерностей. Все условия игры постоянно динамически меняются в зависимости от того, в каком месте появляется активность демона, резко меняющая структуру пост-реальности в локальном сегменте.

Фрактал

Пейзаж пост-системы состоит из фракталов. Это фрагменты сети, кластеры виртуальности. Они одновременно дискретны и непрерывны, меняясь количественно и качественно. В каждом из фракталов есть автономные процессы, которые протекают в отрыве от обобщающих закономерностей – в каждом кластере сети царит свой собственный сезон, своя эпоха, свой этап цикла. Каждый фрактал – представляет собой одновременно нечто абсолютное и самодостаточное, и вместе с тем частичное и фрагментарное.

На линиях разломов возникают *вялотекущие игры*, в которых ассоциируются и диссоциируются элементы, оставленные или, наоборот, интегрированные вспышками демонической активности.

Пост-медиа

Фракталы организуются в целенаправленные потоки, которые составляют *ткань трансляции*. Эти волны абсурда, цепочки намеков и ускользящих от дешифровки кодов формируют главное содержание информационной среды, в которой пребывают пост-люди и пост-вещи. Лабиринты бессмысленных ассоциаций, самоотрицающих и заведомо невыполнимых приказаний, мерцающих полуистин складываются в непрерывное вещание, которое бесперебойно транслируется по сети. В этом вещании точно так же как и во всей виртуальности есть фокусы – присутствие демона (событие, случайное сочетание цветовых и звуковых колебаний и т.д.), и есть энтропические спады, где пост-человеку сообщается обескураживающе стерильная ерунда. Все происходит на одном дыхании и в ритме, исключая рефлексю. Реакция требуется безотлагательная, без задержки, и информируемый сливается с информацией, не в силах более разотождествиться с ней. Субъект и объект информации совпадают. Каждый становится «сам себе медиа», потому что потребляет и испускает нескончаемый и нетемперированный поток сырого или произвольного обработанного бреда.

Пост-медиа основано на принципе «тщетного символизма» (так называемая «wanton symbolization»), знак указывает на обозначаемое, которое отсутствует в сфере значений, и, следовательно, знак не обозначает ничего, кроме себя самого, и тем самым приобретает абсолютное значение сам по себе. Абсолюты «тщетного символизма» мультиплицируются, наползают друг на друга, заполняя все пост-пространство и вытесняют потребителя информации как субъекта. Это

-- послание в стиле ленты Мебиуса, двигаясь по непрерывной поверхности внимание попадает на противоположную сторону знака, само того не замечая, и так длится до тех пор, пока обе стороны превратятся в одну, хотя всякий раз на противоположной стороне будет присутствовать темная симметрия, создающая иллюзорное ощущение гносеологической глубины.

Пост-медиа выливаются в атмосферный язык, *амбиентный дискурс*, который представляет собой сплошной нечленораздельный фон, выразительный и разнообразный белый шум.

Телевидение стремится сегодня к этому состоянию, загрязненному пока еще пятнами модерна – то тут, то там, мелькнет смысл или система, логика или структура. Фразы дикторов, комментаторов и телеведущих еще не до конца замкнуты сами на себя, не зациклованы и фрактализированы. Но скорее всего это в скором времени произойдет.

Офитическое пространство

Как крот был символом капитализма (у Маркса), змея является символом постмодерна (Делез, Гваттари).

Пост-пространство постмодерна змеевидно, живо и неровно. Оно извивается, постоянно меняя конфигурацию как волны. Оно состоит из динамичных потоков информации. В этом пространстве располагаются новые страны (пост-страны), новые народы (пост-народы), новые континенты (пост-континенты), новые языки (пост-языки).

Биос некрот

В постмодерне происходит стирание граней и сплавление разнородных контекстов. Одним из ходов постмодерна является смешение жизни и смерти, создание среды «*мертвой жизни*» -- «биос некрос». Синтез машины и организма в киборге отражает более фундаментальную линию синтеза мертвеца, покойника и живого существа. Тематика «*undead*», «неумерших» показательна для духа пост-модерна. Откуда пролиферация сюжетов в стиле «ночь скачущих трупов», «возвращение армии мертвецов» и т.д. Здесь голографически отражается процесс «уловления Левиафана», как экскавация премодерна, погребенного на заре Нового времени, всплытие архаических архетипов, которые тут же улавливаются в электронные сети мировой паутины.

Актуальность приобретают темы вампиризма, которые становятся модой. Неумершие покойники и неродившиеся по-настоящему дети (клоны) наполняют собой телепространство. Переход между жизнью и смертью становится самостоятельным и самодостаточным полем действия. Равно как переход между сном и бодрствованием. Привилегированной сферой культа становится некромантия, практики взываний к «бродячим влияниям», теням.

Мертвое и живое в постмодерне принадлежат одной плоскости, не разделены никакой границей – ни эмоциональной (ужас), ни символической (кладбищенская ограда). Так как жизнь теряет основание, смерть перестает быть ее антитезой (как в модерне), превращаясь в разновидность жизни. Как в современном политкорректном языке об уродях говорят как о людях с «альтернативной внешностью», так о покойниках скоро будут говорить как о «людях, в альтернативном состоянии», чтобы не задеть их или окружающих, которым предстоит то же самое.

Из постмодерна не возможно уйти даже в смерти, так как он простирает свое парадигмальное влияние на обе области, смешивая их в одно.

Ироничная имитация (юмор), автономизация симулякра

Пост-культура постмодерна основана на сверхэксплуатации юмора, на пролиферации многомерной иронии, как в бесконечных зеркалах отражающей саму себя. Все вещи постмодерна не те, за что себя выдают. И это довольно смешно. Смешным становится все. (Дьявол известный насмешник). И то, что на самом деле смешно, и то, что совершенно не смешно. Поскольку все -- игра, то все наделено ускользающим смыслом.

Постмодерн – пространство непрерывной сатурналии; все меняются ролями, полами, субъект-объектными позициями, властными функциями, возрастными параметрами, профессиональными навыками. Детский сад для взрослых, дети-менеджеры, пасторы-транссексуалы, президенты секс-рабы, политики-сотрудники варьете. Это все вызывает ироничный интерес, и сама по себе ирония становится достаточной мотивацией для диверсификации перверсий. Извращение отныне диктуется не искаженной (в сравнении с условной нормой) структурой бессознательного, но диктатурой ироничного опыта, распространенной на все. То, что не смешно и не нелепо, не может быть потреблено и включено в сеть. А значит, интерес тут же пропадает, энергия падает, начинается мгновенный энтропический кризис. Сама энтропическая депрессия -- тоже объект для насмешки, но это сброс импульса в черные дыры межсетевых кластеров.

Устанавливается когнитивный произвол – каждый волен не просто выбирать когнитивные модели, но и самостоятельно их конструировать. Все языки доступны, и каждый может легко создать свой собственный язык. Точно также с мыслительными системами: от них требуется только одного – экстравагантности. Думать надо весело, легко, чтобы было смешно самому думающему, и тем, кто с этими думами знакомится.

Юмор постмодерна технически состоит в непрерывном потоке десемантизации и ресемантизации понятий. Слово, термин, категория, высказывание, речь, дискурс искусственно лишается смысла – смешно! – потом снова наделяется новым и неожиданным смыслом – опять смешно! Этот процесс рециклируется снова и снова, и это постоянное повторение порождает эйфорию морбидного хохота, который, развертываясь, сам запутывается в своих собственных спиральных.

В языковом феномене юмора – даже традиционного – лежит возможность дистанции от привычного смысла происходящего или ложные ассоциации (часто с иным языком). Иностраный язык в какой-то момент начинает казаться смешным и странно узнаваемым, если в эту среду резко и без подготовки помещен носитель другого языка без малейших знаний. В этом есть нечто болезненное, смыслы угадываются, ложные ассоциации порождают экстравагантные домыслы. Примеры: голливудский идиш в американском языке или русский язык рыночных азербайджанцев. Когда щетинистый торговец курагой произносит с чувством «Зайка майя...», обращаясь к нанятой бабе в шерстяных рейтузах, действительно, смешно. Суть в смешении контекстов, в бредовости ситуации и одновременно в ясном угадывании ослепительно скабрёзного контекста вокативной формулы. Здесь разгадка успеха еврейских юмористов: бессознательно многие русские слова вызывают в них потайные ассоциации с фрагментарными обрывками бабушкиного идиша. В частности, панибратский русский суффикс «-ка» -- «Вань-ка», «Петь-ка» и т.д. – напоминает собственные имена «Малка», «Залка», где «-ка» лишь рудименты высокого древне-еврейского торжественного «ха». Большое сползает в малое и разрывает малое снопом смеховых искр.

Язык постмодерна это хихиканье, переходящее в шипенье.

Отсюда абсолютность, тотализация моды на юмористов. Они выполняют функции когнитивной революции. Поток сознания несмешных комиков, льющийся с экранов, выполняет важнейшую функцию – так шипят офитические сети, ощупывающие планету. Юмор постмодерна – это прямое орудие глобализации.

Конспирология

Конспирология становится важным инструментом гносеологических стратегий постмодерна. В конспирологических реконструкциях неразлично сливаются архаические мифы с критическими разоблачительными рациональными реконструкциями модерна. Результат получается экстравагантным, привлекательным, энергетичным и исполненным ироничного безумия.

Конспирология видит мир как тотальный заговор. Заговорщики и заговорщицы – иллюминаты, таинственный Комитет «Маджестик 12», зловещие создатели «Операции Монарх», серые и голубоглазые инопланетяне, члены Бильбербергского клуба и Трехсторонней комиссии, посвященные ордена «Череп и Кости», закамуфлированные под президентов и крупных политиков полуторометровые рептилии и «Вавилонские братья» (Д.Айк), выжившие в Антарктиде нацисты, бьющиеся против второй поправки к Конституции о праве на ношение оружия коммунисты, сотрудники секретных отделов ЦРУ, «черные вертолеты» и транснациональные корпорации -- установили тайную власть над человечеством и управляют им средствами тотальной дезинформации, манипуляции, контроля над сознанием, стиранием памяти, внедрением ложных воспоминаний и т.д. Реальность подделана темными силами, которые создали глобальную матрицу, порождающую бесконечные потоки иллюзий.

Конспирологические системы множатся и перетекают друг в друга, составляя растущий сегмент маргинальной культуры, обогащаясь все более нелепыми и гротескными гипотезами, «неопровержимыми доказательствами», головокружительными подробностями.

В эпоху модерна такое чудачество также существовало на обочине социума, представляя собой эксцентричное гетто остатков традиционного общества или душевнобольных с вышедшим из-под

контроля подсознательным. Но в постмодерне Конспирология покидает границы кунсткамеры, выплескивается в широкие массы.

Сериал «Секретные досье» (X-files) с агентами Малдером и Скалли представляют собой иллюстрированную энциклопедию конспирологических версий, серия за серией продолжая причудливую экспозицию подозрений, разоблачений, догадок, страшных открытий. Фильм «Теория заговора» с Мелом Гибсоном обобщает конспирологическую эпопею, делая главным героем совершенно безумного на первый взгляд конспиролога, который, в конце концов, оказывается ближе всех остальных к неприятной истине. И наконец, культовый фильм «Матрица» рисует полностью поддельную вселенную, где машинные технологии управляют пост-человеческими биомассами, высасывая из них жизненную энергию и давая взамен стерильные панорамы образов, предельно точно имитирующих реальную жизнь. Против машинных сил «Матрицы» бьются нонконформисты-инсургенты, разоблачающие ее иллюзию и призывающие пост-людей к восстанию и возвращению из постмодерна в модерн (впережку с преמודерном – свальные танцы в пещерах «Матрицы-2»). Герой «Матрицы» Нео носит вполне старообрядческий кафтан. В фильмах Родригеса «Дети-шпионы» и «Дети-шпионы-2» конспирологический нарратив достигает апогея, окончательно утрачивая содержание, но оттачивая до предела хаотический поток блистательного и зрелищного бреда.

Сегодня конспирология не просто альтернативная доминирующей рациональности иррациональная передышка. Все серьезнее. Маргинальный делирий впитывается магистральной культурой, коммерчески тиражируется, вбрасывается в глобальные циркуляционные сети, где вокруг этих тем вращаются образы, тексты, огромные деньги, культурные дискуссии. И в таком виде импульс снова возвращается обратно к самим конспирологам. Теперь уже активист «альтернативных» (конспирологических) медиа Ури Довбенко пишет книгу рецензий на фильмы с конспирологическими сюжетами -- «Hoodwinked: Watching Movies With Eyes Wide Open» («Под колпаком: смотреть кино открытыми глазами»), где показывает как ««Матрица»

сознательно выдает свои собственные секреты для того, чтобы лучше их скрыть, и открыто рассказывает о своем существовании, чтобы все перестали в нее верить». Конспирологическая диалектика поднимается на следующий виток, и масс-культура интенсифицирует свой ироничный диалог с маргинализмом, альтернативщиками и неполитикорректными лунатиками.

Matrix has you.

Отношение к постмодерну

Здесь стоит задать вопрос: *как относиться к постмодерну?* Ответ крайне непростой.

Традиционалист видит главного врага в модерне, так как модерн систематически, последовательно и с программной жесткостью уничтожает традиционное общество, десакрализует реальность. Поэтому, когда модерн заканчивается и напряженность гонений на Традицию ослабевает, создается поверхностное впечатление, что структуры Традиции могут развернуться снова, выпущенные из-под спуда. Благодаря постмодерну. Именно по этой логике и опасаясь такого поворота, ряд наиболее последовательных модернистов (Ю.Хабермас, Э.Гидденс и т.д.) объявил постмодерну войну, как «предательству духа Просвещения». Если понимать под постмодерном окончание модернистического прессинга на Традицию, то традиционалисты этому должны были бы радоваться, а модернисты – возмущаться. На определенном уровне так оно и есть.

Но с другой стороны, постмодерн ни коим образом не намерен давать премодерну возможности реабилитироваться и утверждать экспансивно свои структуры и свои смыслы. Его (досрочное) освобождение из подполья является условным и обставлено многими ограничениями. *Премодерн признается постмодерном лишь частично – в расчлененной*

форме, как перемешанный и дезориентированный шипящий хаос слепых энергий. Американский писатель Говард Филип Лавкрафт, создатель сумеречной мифологии, вывел на вершине иерархии подводных рас зловещие фигуры слепых богов, богов-идиотов – Азатота, Йог-Сотота и других. Это «предшествующая» сакральность, лишенная последовательного языка. Подводных богов-идиотов силится уловить постмодерн в свои сети, но только для того, чтобы вычерпать из них древнюю энергию, а отнюдь не для того, чтобы предложить им вернуть зрение, разум и власть. И в этом постмодерн вполне солидарен с основной линией модерна – по сути, он хочет добить сакральное, притаившееся в сфере бессознательного в эпоху прямых гонений (Новое время), выманить его наружу и перемолоть в сетевых кофемолках (Java). Та часть модерна, которая распознает сущность стратегии постмодерна и достаточно авангардна, чтобы делать шаг вперед, плавно перетекает в него, воспринимая как апофеоз своей собственной миссии.

Поворачиваясь лицом к премодерну, постмодерн излучает приглашение к модернизации, но этот процесс отныне должен проходить ускоренно, стремительно перерастая в постмодернизацию. Скорость и интенсивность процессов здесь играют решающую роль. Грань между модернизацией и постмодернизацией очень тонка. Она фиксируется в тот момент, когда активная сила модернизации внезапно перестает формально противостоять архаике и премодерну, и довольно уверенно инкорпорирует его в свою собственную систему. Наглядно этот процесс прослеживается в эволюции американских неоконсерваторов от антисоветского отроцкизма к лево-либеральной демократии и далее к право-республиканскому глобализму и неоимпериализму. В современной России тот же процесс – уже в ускоренном темпе – протекал в 90-е. Коммунистические аппаратчики и комсомольские активисты стремительно превратились в либералов (модернизация), а затем – в конце 90-х -- в консерваторов (постмодернизация). Отмена давления на архаическую традиционалистскую составляющую ни в США, ни в России так и не прекращалась, только в один момент модернистические гонители премодерна сами оказались в позиции «традиционалистов», тогда как настоящие традиционалисты так и

остались в своем гетто – в начале под предлогом неприемлемости и экстравагантности их идеологии, а потом в силу ее же банальности и общепризнанности. И уже растерянный фундаментальный американский консерватор Пэт Бьюкенен критикует империализм неоконсерваторов, вчерашних троцкистов, захвативших сегодня полноту власти в США под эгидой ультраимпериалистической и правореспубликанской стратегии. Аналогичная ситуация с «православными ястребами Путина» - вчерашними «либералами», позавчерашними «коммунистами».

Однако процесс установления постмодерна после окончания миссии модерна несет в себе определенные риски и имеет слабые места. Есть в этом что-то от ситуации, описанной Хэменгуэем в повести «Старик и море». Ловля гигантской рыбы может унести укротителей в непредсказуемые водные просторы. Игра с затопленными континентами сакрального, эвокация слепых богов, освобождение – пусть обусловленное и частичное – архаических пластов бессознательного, пробуждение мертвецов и создание биомеханических монстров операция чрезвычайно *опасная*. Тем более, что премодерну терять особенно нечего, так как в модерне у него не было вообще никакого шанса.

Постмодерн сдает карты по-новому. И каждая парадигма приглашается к странному, опасному и увлекательному диалогу. Архаическое в постмодерне по сути ничего не теряет, оно уже все потеряло в модерне. И если оно как-то приспособилось к модерну в пассивно-бессознательном состоянии (археомодерн), это непринципиально – судьба его была предрешена. Постмодерн вытаскивает архаическое из его нор, давая ироничное право на стремительную вспышку бытия – даже если за этим последует немедленная гибель, попробовать стоит. По сути, гибель уже и так произошла.

И наконец, ситуация постмодерна -- *данность*. Эта парадигма накатывается на нас стремительно, хотим мы этого или не хотим. Мы свободны оценивать ее по-разному, но в отношении понимания ее сущности все довольно просто: *либо мы понимаем, что происходит,*

либо не понимаем. Тот, кто понимает, тот воспринимает вызов ситуации постмодерна субъектно и сознательно, полноценно. Тот, кто не понимает, того сметает волна постмодернистического цунами, и пузырящиеся воронки играют им по своей прихоти.

Прежде чем определять свое отношение к ситуации постмодерна, ее следует осознать. Время, отпущенное на этот процесс, весьма ограничено. В какой-то момент раздастся финальный свисток, и кто-то громко и пронзительно захохочет. Это будет знак.

Приложение: Новая Метафизика в ситуации постмодерна

Статья «Сверхчеловек»

Новая Метафизика, описывающая онтологическую ситуацию предельного отчаяния и полностью богооставленного мира, сложилась в моем сознании в начале-середине 80-х годов под впечатлением освоения традиционалистской мысли (Генон, Эвола, Шуон и т.д.) в условиях позднего советизма. Увлечшись герметической традицией, я попросил в магазине химикатов серу, ртуть и соль, на что продавцы мне нелюбезно ответили, что ничего из перечисленного у них нет, и вообще все отпускается учреждениям только по талонам. Талонов у меня не было, не было и учреждения. Впервые я описал подходы к «новой метафизике» в неопубликованной статье «Сверхчеловек» (1985). Смысл статьи сводился к размышлениям относительно ницшеанского определения «сверхчеловека», на котором в «Оседлать Тигра» подробно останавливается Эвола. – «Победитель Бога и ничто». Я толковал эту формулу, как сущность особой метафизической программы.

«Бог умер, -- восклицает безумец у Ницше, -- Вы убили его, вы и я.» Человек победил Бога, и Бог отступил. Это десакрализация. Сакральное удалилось. Что осталось? Ничего. Ведь в сакральном была суть всего, средоточие бытия. Так после смерти Бога (победы над Богом) обнаружилось ничто, «современный нигилизм» (Ницше).

Сверхчеловек – тот, кто делает два шага преодоления – преодоление Бога (как внешнего абсолюта) и преодоления ничто, как пространства обезбоженной десакрализованной пустотной реальности, обнаружившей свой энтропический статус после удаления бытия. Сверхчеловек может сделать два этих шага, только интериоризировав Абсолют, обнаружив источник сакрального в самом себе – причем сакрального не заимствованного и не по соучастию, а самопроизвольно и суверенно утвержденного через испытание тотальной пустотой, пройдя через ничто.

Конец эпохи Бога – переход от премодерна к модерну. Преодоление традиционного общества дает модерн. Далее обнажается ничто. Это ничто – модерн, его действие, направленное против бытия как средоточия сакрального, а другого бытия нет. Преодоление ничто – второй шаг – порождает сверхчеловека. Это особое качество, которого нет ни в Традиции, ни в современности. Из такого анализа следует, что сверхчеловек – это фигура постмодерна. Причем ключевая фигура, если смотреть на постмодерн не глазами самого постмодерна, а глазами Традиции, которая – пусть и бессильно – но предельно точно осознает смысл происходящих сдвигов по шкале премодерн-модерн-постмодерн.

По сути статья «Сверхчеловек» была и остается основой моей метафизической программы в течение последних 20 лет.

Чуть позже (1986-1987) я решил развить основные положения этой статьи в более развернутом труде «Тамплиеры Иного». Книга получилась слишком концентрированной, и как упрощенное пояснительное введение к ней я в 1988 написал «Пути Абсолюта», а потом в качестве пояснения к «Путям Абсолюта» и как проекции некоторых отдельных положений применительно к более частным областям остальные книги – вплоть до современных политологических

циклов статей и заметок о российской поп-музыке ⁽⁹⁾(о группе «Тату» и т.д.). Все это содержалось уже имплицитно в первой статье «Сверхчеловек».

В книге «Тамплиеры Иного» Новая Метафизика описывается более детально (хотя и довольно громоздко, на брутальном тяжелом языке, полностью лишенном всякого изящества).

Скупые тезисы статьи «Сверхчеловек» выливаются в метафизическую картину.

Краткое содержание «Тамплиеров Иного»

Мы живем в мире Смещения, которое возникло из-за того, что связи между Причиной и следствием искажены и извращены. Это порождает нигилизм, удаление Сакрального и дезонтологизацию. Вещи, оторвавшись от корней, искажаются до неузнаваемости. Современность – это финал деградации, и почти ничего не осталось.

Из реальности исчезает мужское начало. Порождающее-охраняющее-уничтожающее. Герой мертв. В мире есть только Трагедия.

Но как Причина позволила следствиям оторваться? Как Бог дал себя убить? Как сакральное согласилось удалиться? Ведь нет инстанции, высшей, чем высочайшее...

Видимо все-таки *есть*, раз все развивается именно так, как развивается. И эта тайная высочайшая инстанция, которая *выше, чем самое высокое*, издала декрет о векторе десакрализации, приказала бытию умалять себя, а сакральности -- распылять себя. Эту инстанцию интересовало *дно бытия*, в котором она искала тайную жемчужину. Для того чтобы найти ее, надо было выпарить сладкие воды жизни, погасить жар онтологической ритмики. Это и произошло, а значит, тайная рука

направляла с высочайшего верха весь путь мира к Смешению, Извращению и вырождению. Конец Света был задуман еще до его начала, и значит не меньше, если не больше, чем само это начало. Иными словами, в сердце бытия есть странная воля создать территорию, свободную от него самого. Эта территория – ничто современного мира – создана. Постонтологические условия наступили.

Все было унесено потоком энтропии в небытие. И все потеряло голову. Единственное, что не потеряло голову, это горчичное зерно в заснеженной Москве с томиком Генона и книгами Ницше, сжатое выше выносимой плотности, не существующее, неизвестное, тотально исключенное, с бытием не крупнее спичечной головки. В этой точке и загорелась холодная догадка о сверхчеловеке и Новой Метафизике, о том, что все это далеко не случайно.

Определив оперативные параметры ничто, Новая Метафизика стала развертываться в обратном направлении. Уверенно явилась мысль о Радикальном Субъекте.

Пробуждение Радикального Субъекта

Радикальный Субъект - это актер Новой Метафизики, ее полюс. Радикальный Субъект появляется *тогда, когда уже поздно*, и все остальные исчезли. Он не может появиться, потому что он не запланирован. Его пробуждает Постсакральная Воля. Постсакральная Воля это нечто, что не совпадает с сакральным, но не совпадает и с ничто. – Это главный атрибут сверхчеловека. Вне сакрального есть только ничто. Значит, Постсакральной Воли нет, но она есть. И в таком режиме она только и может существовать.

Постсакральная Воля пробуждает Радикального Субъекта, и его пробуждение творит Невозможную Реальность. В «Тамплиерах Пролетариата» достаточно подробно описывается как проходит

пробуждение, как творится Невозможная Реальность и какие жесты осуществляет Радикальный Субъект. Он в чем-то восстанавливает сакральное, возвращает бытие, но в чем-то нет. Все определения Новой Метафизики балансируют на лезвии. Там явно нагнетена определенная иступленная мысль и разъяренная воля, но ее непросто схватить и расшифровать.

Здесь не место описывать нюансы. И пока не время. К трем основным понятиям Новой Метафизики – Радикальный Субъект, Постсакральная Воля и Невозможная Реальность -- быть может, следует сегодня добавить еще внушительные, но столь же неточные понятия – *Бесконечный Конец* (пан-эсхатон) и *Иступленное Царство* (экстатическая империя), которые расширяют синонимический ряд Невозможной Реальности.

Новая Метафизика и постмодерн

Очевидно, или почти очевидно, что метафизическое описание ситуации постмодерна как-то явно перекликается с параметрами Новой Метафизики и ее основными понятиями. Культуртрегерский цикл от комментариев к статье «Сверхчеловек» через «Тамплиеры Иного», «Пути Абсолюта», «Мистерии Евразии», номера «Милого Ангела» и «Элементов», «Метафизику Благой Вести», «Консервативную Революцию», «Основы Геополитики», «Тамплиеров Пролетариата», «Русскую Вещь», «Эволюцию парадигмальных оснований науки» вплоть до «Философии Традиционализма» и «Философии Политики» принципиально завершён, хотя к каждой из тем и подтем можно свободно добавлять пояснительные экспозиции. В общих чертах *Opus* закончен, и все снова упирается в радикальный диагноз, данный в Новой Метафизике. Для таких реалий 20 лет не время, *mais quand tème...* Происходит возврат к тематике «Сверхчеловека».

Новая Метафизика резонирует именно с постмодерном. Между ней и постмодерном существует глубинная связь. Ясно, что это не субпродукт постмодерна, и ясно, что это не его синоним. О связи говорить можно и наверняка. Характер этой связи *предстоит выяснить*⁽¹⁰⁾. Некоторые операционные модули налицо, но стихия постмодерна требует к себе повышенного внимания. Пока ее парадигма до конца не прояснена, не лишним будет описывать и исследовать ее снова и снова.

Делая это, мы будем приближаться к Новой Метафизике, но не прямо, а по спирали, вращаясь вокруг ее оси – называем ли мы ее прямо, или нет. Подспудно она всегда с нами, все эти годы. Видимо, на века вперед и назад, если не перпендикулярно векам.

Сноски

- (1) См. А.Г.Дугин «Философия традиционализма», М. 2002
- (2) Позднее автор описал более систематически это явление как «археомодерн».
- (3) См. А.Г.Дугин «Философия традиционализма», указ. соч.
- (4) См. А.Г.Дугин «Философия традиционализма», указ. соч.
- (5) См. А.Г.Дугин «Философия традиционализма», указ. соч., а также Jean-Marc Vivenza - «Le Dictionnaire de Rene », Paris, 2002)
- (6) См. Дж. Хорган «Конец науки»М, 2002.
- (7) См. А.Г.Дугин «Философия традиционализма» -- главы о антропологии и А.Г. Дугин «Философия политики», М., 2003 -- глава о «Политической антропологии».

(8) » См. А.Негри, М.Хардт «Империя», М. 2004.

(9) А.Г.Дугин «Поп-культура и знаки времени» СПб, 2005

(10) Существенные уточнения относительно этой связи
были даны в книге А.Г.Дугин «Постфилософия» . М. 2008

Глава 2. ПОСТПРОСТРАНСТВО И ЧЕРНЫЕ ЧУДЕСА

Часть 1. Причины, цели, чудеса

Три парадигмы: напоминание о методе и важность постмодерна

Несмотря на то, что в названии фигурирует вначале «Постпространство», а потом уже «черные чудеса», порядок изложения тем будет обратным: вначале мы обсудим черные чудеса, а потом постпространство.

Хочу обратить внимание на методологию изложения: следует постоянно иметь в виду *парадигмальный подход*, который лежит в основе этой книги.

Напоминаю кратко: существуют парадигма преמודерна (традиционное общество), парадигма модерна (посттрадиционное, современное общество) и парадигма постмодерна — та самая странная парадигма, которой, в принципе, не может быть, но которая есть. Она-то нас и интересует более всего.

Парадигма постмодерна никем толком не описана. Я недавно решил полистать литературу по постмодерну, и оказалось, что большая часть — это материалы абортивного рода. Но, тем не менее, тематика сверхинтересная, и штрихами она намечена во французской школе. Те, кто полагает, что тема хорошо изучена, заведомо

дисквалифицированы, они вообще не понимают, о чем идет речь. Преодолеть постмодерн с наскоку невозможно, также как было невозможно преодолеть Новое время, даже еще сложнее. При этом никакой ортодоксии в вопросе изучения постмодерна не существует, поэтому это явление мы должны снова и снова продумывать практически с нуля. Несмотря на то, что об этих вещах написаны уже тонны книг, самого главного не сказано и близко. Постмодерн нужно изучать так, как будто никто о нем ничего не слышал или слышал какие-то обрывки.

Если мы не поймем, что такое Постмодерн, то не поймем, что такое Радикальный Субъект и Конец Света, а это очень важно понять.

Понятие причины и цели: почему? и зачем?

Итак, к делу. Что такое причина, цель и чудеса?

В русском языке мы обычно не делаем большого различия между вопросом «почему?» и вопросом «зачем?», в принципе, это для нас кажется почти одним и тем же. Но с точки зрения философской, это абсолютно разные вещи. «Почему?» отсылает нас к *причинам* — почему произошло то-то и то-то, «зачем?» — к *целям* происходящего.

На базе разбора этих философских понятий — причины и цели — можно проследить, *что такое чудо*, и как оно понимается в рамках наших трех парадигм. Так мы и подходим к тому, что мы называли «черными чудесами» — к той эксплозии постмодернистической виртуальной квазионтологии, которая составляет экстатический привкус постсовременности.

Причина и цель в премодерне (манифестационизм)

Парадигма премодерна включает в себя манифестационизм и креационизм (1). Рассмотрим манифестационизм – более примордиальную форму Традиции.

В парадигме манифестационизма нет представления о жесткой причинной обусловленности явлений. Явление -- человек, существо, мир, ветер, звезды -- есть, а их причины, строго говоря, может и не быть. Причина человека Традиции (манифестационизма) особенно не заботит. Почему звезды светят — это не так принципиально, а вот зачем они светят — это другое дело. Цель есть. Эта одна из главных тем философии Аристотеля -- то, что больше всего интересовало древнегреческих философов манифестационистского толка — цель, telos.

Энтелехия

Аристотель использует специальный термин — «энтелехия» — «наличие цели в себе». Энтелехия — это наличие цели. Каждая вещь, с точки зрения манифестационизма, несет в себе свою собственную цель, свой собственный смысл. Вещь в своем высшем измерении, в своем идеальном архетипе, в своем предназначении и есть этот telos, эта цель. А причинная цепочка, которая ведет к достижению этой цели, может варьироваться, и , в конечном счете, произвольна. Генезис (происхождение) направлен к вполне определенной цели, а причинные цепи, которая ведет к ее достижению, могут быть взаимозаменяемы. В этом смысл понятия судьбы, рока, фатума, а позже христианского понятия Промысла.

Например, человек пошел на улицу, поскользнулся, упал, его переехало трамваем, и он умер. «Пошел на улицу» -- это причина.

Казалось бы, «не пошел» бы — не умер. Но с точки зрения энтелехии, поскольку смерть человека в данный конкретный момент является целью (исполнением судьбы), то он может не пойти на улицу, но решит принять ванну, у него случится сердечный приступ, он захлебнется и умрет. То есть *умрет в любом случае*. А пойдет он на улицу или не пойдет — не важно. Какая бы ни была причина смерти, именно смерть является смыслом данного эпизода человеческой жизни. Или другой пример, пошел юноша на дискотеку, влюбился, женился, дети родились. Не пошел на дискотеку — всё равно влюбился в продавщицу цветов, женился, всё равно дети... *Telos* превалирует над причиной.

Таким образом, в мышлении человека энтелехийного не так принципиально, *почему* произошло то или иное событие, и соответственно, на выяснение причин определенного события, на продумывание логических цепочек, ведущих к какому-то конкретному результату древние особо много времени не тратили. Основное внимание человека Традиции было сосредоточено на телесе, на цели, на *смысле*: если нечто есть, значит, у него заведомо есть некий смысл. И именно смысл, который несет в себе вещь, явление, событие, как раз и завораживал внимание людей преמודерна, а логическая цепочка предшествования могла быть произвольной.

В парадигме преמודерна основное значение имеет вопрос «*зачем?*». Он принципиален и вполне конкретен, а вопрос «*почему?*» второстепенен.

Отщепенцы из Абдер

В древнегреческой досократической философии никто, как правило, не задавал вопроса о причинности явлений, но очень много говорили о целях явлений. Кроме одной подозрительной группировки мыслителей

из фракийского города Абдеры. Всё в пресократической философии, что носит подозрительный, очень тревожный и злобный характер связано с этим городом — Абдеры. Оттуда вышла самая мразь, которую только можно себе представить — атомисты Левкипп, Демокрит, и даже софист Горгий, утверждавший, что мир создан из ничто, тоже оттуда. Куда ни плюнь — приходишь в Абдеры. Это единственная группка философов-атомистов, которые задумывались о том, не *зачем*, а *почему* возникла Вселенная, что вообще никого тогда не волновало: не волновало Ксенофонта, Анаксимена, Анаксимандра, Гераклита, Фалеса, Эмпедокла, Парменида, вообще никого, а эту группировку из Абдер волновало. Но это особый вопрос, какие страшные вещи должны были происходить по ночам во Фракии, что люди там задавались вопросом «почему?», хотя в то время все нормальные люди в Греции задавались вопросом «зачем?».

Почему? и зачем? в модерне

Приходит парадигма модерна. Все знаки меняются на противоположные. Мы много раз говорили об оппозиционности языка современности и языка Традиции.

С точки зрения модерна, отношения между вопросами «почему?» и «зачем?» переворачиваются. В философии современности (современности в парадигмальном, а не временном смысле) всё строго наоборот: существует вопрос «почему?», но не существует «зачем?». Каждое явление очень строго детерминировано: из столкновения одной частицы с другой обязательно вылетит третья, либо энергия появится, либо она подвергнется энтропии, либо произойдет что-то еще, предопределяющее последующие траектории. Если первая и вторая частицы не столкнутся между собой, то третья никогда и ни при каких обстоятельствах не вылетит, энергия не увеличится и не уменьшится, и чего-то еще тоже не произойдет... Но когда становится

вопрос, *зачем* третья частица должна вылетать из столкновения этих двух, люди современности (модерна) разводят руками и говорят: этот вопрос некорректно поставлен, мы говорим только о детерминистских цепях.

Итак, если в традиционном обществе существует четкость в представлении о цели и смысле явления, не важно как он трактуется — в каждой философии, в каждой модели, в каждой мифологической картине это *зачем, для чего истолковывается* по-своему, но всякий раз этот смысл *есть*, а в отношении причин существует свобода (может быть, поэтому, а может быть, и по-другому или вообще неизвестно почему), то с точки зрения парадигмы модерна, всё наоборот — очень точно predeterminedены причины конкретного явления, но совершенно не определено его значение, его смысл.

Кто подправляет орбиты планет?

Возьмем Ньютона, творца современной научной картины мира. Ньютон объясняет, *почему* кружатся планеты (их притягивает сила тяготения), но как только он сталкивается с проблемой отклонения от этой детерминистской модели, он говорит: ну вот, тут вмешивается Бог-механик, который подправляет орбиты, чтобы они не упали. У мыслителей модерна на ранних стадиях становления детерминистской философии еще наглядно видны логические дыры, сбои, и чтобы обойти их они прибегают к экстравагантным (для людей более поздних стадий модерна) объяснениям.

Карл Поппер как борец с энтелехией

В парадигме модерна существует жесткая детерминированность структур, совершенно *однозначное* представление о причинах и *многозначное* о целях. Досконально описывается, *почему* происходит кипение воды, а *для чего* — вопрос остается открытым.

Антиномистские тезисы философов из Абдер — фактически стали основой идеологии современного мира. Тогда, в досократический период это была группка отщепенцев, сегодня это «мировое правительство», возводящее парадоксы в статус догмы. Теоретик либерализма XX века Карл Поппер подробно останавливается на критике Аристотеля и, особенно, на учении об энтелехии. Казалось бы, эта тема была в центре внимания философов эпохи Возрождения, когда новые последователи Демокрита (в первую очередь, Галилео Галлилей) боролись с Аристотелем. Почему же критика телеологии снова стала актуальной в XX веке, когда либерализм и парадигма модерна, безусловно, доминируют? Поппер и Хайек стараются вычистить модерн от всех возможных пережитков, которые способны проникнуть в модерн под сурдинку, играя на бессознательном. И самым ярким проявлением этого проникновения, это тайной мести Традиции, они справедливо считают любые намеки на телеологию и смысл, на наличие у бытия цели и ориентации, которые появляются как в философии Гегеля или Маркса, так и в политических учениях нелиберального (антилиберального) толка – как правых, так и левых.

Итак, если преомодерн, традиционное общество, нечетко знает *почему*, но четко знает *зачем*, то современное общество, модерн, наоборот, четко знает *почему*, но совершенно не знает или произвольно гадает *зачем*. В традиционном обществе существует *телеологический детерминизм* или предопределенность цели, а в обществе модерна существует *каузальный детерминизм*, то есть предопределенность причин.

Эрозия каузальности плюс эрозия телеологии

Теперь мы переходим к постмодерну. *В постмодерне происходит эрозия и телеологического и каузального детерминизма.* Отныне мы имеем отныне дело с миром, в котором абсолютно не понятно, *почему* и точно так же непонятно *зачем*. Явление есть, но к этому явлению совершенно произвольно может быть подставлена (любая) причина и столь же произвольно подставлена (любая) цель. Нечто произошло, но *почему* это произошло и *зачем* произошло, этот вопрос отныне не ставится. Это принципиальная черта постмодерна, и если мы поймем, осмыслим ее, то мир, который нас окружает — его образы, предметы, процессы, атрибуты, теледикторы, юмористы, политкомментаторы и политики — предстанут в совершенно ином свете.

Дискурс постмодерна размыкает цепочки причин и следствий. Этот дискурс заведомо строится на *эрозии каузального детерминизма*, поэтому-то мы и говорим о *постмодерне*, т.е. уже не только о модерне, но чем-то принципиально новым, что приходит *после* него. Но вместе с тем, в термине постмодерн сохраняется и привязка к модерну, ведь постмодерн не означает антимодерн, что-то от модерна остается, наследуется. Наследуется *эрозия телеологического детерминизма*, которая составляла сущность гносеологической парадигмы модерна.

Причинные и целевые цепи в постмодерне становятся произвольными или гипотетическими, а значит, каждый индивидуум волен субъективно гадать, почему нечто произошло и зачем это произошло, поскольку никакой научной, мифологической или религиозной аксиоматики больше не существует.

Как относиться к постмодерну традиционалистам?

Краткий парентезис и несколько забегаая вперед: почему мы любим постмодерн? Этот вопрос часто задают. Мы «любим» *постмодерн только потому, что мы не любим модерн*⁽²⁾. Постмодерн крушит запреты модерна, его ингибиции, и для премодерна, от лица которого мы, традиционалисты, выступаем, это шанс. Хочу подчеркнуть — *не более*, чем шанс, но и *не менее*. Это принципиально, и этим наполнена аксиологическая нагрузка данного разбирательства.

Чудо в премодерне

Теперь посмотрим, что такое чудо?

Рассмотрим полноценный премодерн. Чудо в премодерне, в традиционном обществе — это просто *норма, неотъемлемое качество бытия*. Бытие в премодерне всегда чудесно, всегда очаровано, всегда *enchante* (фр.), *bezaubert* (нем.). Эта очарованность свойственна пребыванию сакрального человека в сакральном мире. Человек традиционного общества живет в пространстве чуда. Элиаде пытается выделить элементы профанного в примитивных традиционных (сакральных) обществах, но согласитесь, если внимательно читать его книги, это ему удается с трудом; скорее он проецирует на архаические общества религиозные критерии, свойственные монотеистической авраамической цивилизации.

На самом деле, для полноценного человека полноценного традиционного общества не существует нечудесного. Его глаза широко открыты и одновременно полны волшебства, что бы он ни созерцал: муху, солнечный луч, пришедшего в гости духа, воняющий труп хорька, который прогнил перед воротами его хижины, лунное затмение или пенящиеся водопады. Он с одинаковой степенью заинтересованности, внимания, ужаса и некоего внутреннего веселья относится ко всему происходящему.

Человек Традиции — это глубоко веселый человек. По большому счету веселье не покидает его никогда — ни ночью, ни днем. Он живет в потоке чудесного и даже, смотря на гвоздь, молоток или собственный палец, его распирает чувство невероятной нагруженности: бытие хлещет через край всегда, в любых направлениях. Как только человек традиционного общества останавливается, он начинает хохотать и веселиться, даже если ему очень грустно, даже если он раб, строящий пирамиду, потому что, на самом деле, всё бытие насыщено таким количеством световых онтологических лучей, которые пробиваются и проскальзывают сквозь всё, что для него всё чудесно.

Россия нерасколдованная страна

Небольшое отступление. В России явно до самого недавнего времени - да, наверное, и сейчас кое-что осталось -- существовали элементы традиционного общества. Федор Сологуб, декадентский писатель «серебряного века», начинает свой роман «Мелкий бес» с утверждения, что в России реальность чудовищна, а чудовищность реальна. Цепочка определений -- чудесное, чудовищное, чудное, чудное – восходит к одному и тому же корню. Эти вещи не являются противоположными. Где чудовище, там и чудеса. Действительно, чудовище тоже развлекает своей нелепостью, невнятностью, оно возвращает человека к очарованности, хотя и в аспекте ужаса, который тоже бывает веселым...

Пространство чуда

Пространство чуда в Традиции — это всё пространство, абсолютно всё чудесно. Человеку Традиции даже трудно объяснить, что есть чудеса и не-чудеса, поскольку теоретически в открытом мире может иметь место любое явление, каковое только представимо (или не представимо). Птицы уносят детей в далекие страны, медведи женятся на деревенских девицах и играют громкие свадьбы, умершие предки приходят проведать потомков, принося с того света золотые яблочки и множество иных замечательных и полезных предметов, за печкой домовиха рождает домовенка, у реки хохочут русалки, а в море стонут сирены, мужик прикручивает к телеге колесо, а весной поспекает просо. Все в равной мере привычно и волшебно. Возникнет ли нечто или не возникнет, случится или нет, приведут ли к нему какие-то детерминистские цепи или не приведут, безразлично. Человек Традиции не разделяет события мира на возможные и невозможные, и поэтому для него всё хорошо и везде хорошо. Все осмыслено и течет, куда надо, о чем знают только старые мудрые люди, а остальные просто в это верят...

Эта чудесность становится возможной за счет того, что все уровни существования онтологически связаны между собой золотой нитью, которая растворяет одно состояние или существо в другом, небо растворяет в земле, женщина в мужчине, взгляд в предмете созерцания...

Чудо — это наличие смысла и души во всём, с чем имеет дело человек Традиции.

Чудо в креационизме

Здесь следует сделать небольшое отступление о креационистском подходе, свойственном монотеистическим традициям. Авраамизм существенно корректирует описанную выше идеалистическую

картину. Она справедлива для архаических обществ, к которым почти в полной мере можно отнести и сегодняшние Индию, Китай и даже Японию вместе со всеми остальными дальневосточными культурами, а также архаические племена Латинской Америки, Африки или Тихого Океана. Многие народы земли – причем их большинство! – продолжают с парадигмальной точки зрения жить в золотом веке, в райских условиях, в пространстве непрерывных чудес. Когда мы говорим о чуде — это не значит, что речь идет о каком-то действительно фантастическом событии, речь идет *о восприятии*. Для папуасов Новой Гвинеи или сельских брахманов Северной Индии это чудо --червяков, духов, грязи, дождей, богов, звезд, носов -- продолжается и сейчас. Чудо рядом с нами. Потому что премодерн существует и сегодня. Если мы правильно сумеем распознать его, если мы сможем посмотреть на себя и на мир чудесными глазами, то мы сможем представить себе, что такое полноценное традиционное общество.

Креационизм, монотеистические религии разбивают эту идеальную картину. Парадигма монотеизма лежит между традиционным обществом и парадигмой модерна, это промежуточная стадия. С одной стороны — это еще традиционное общество, с другой — это уже предпосылки модерна.

В креационизме (модели Творец-Творение), как и у пресократических философов-атомистов, впервые в истории религии появляется *каузальный детерминизм*. Креационизм утверждает: Бог творит *одноразовым образом* единственную реальность. Это безусловный элемент детерминизма. Здесь существуют четкая причина и четкое следствие (у творения есть цель, это приход мессии и восстановление реальности в ее первоизданном виде).

Но факт Творения порождает брешь в манифестационистском пространстве сплошного чуда. Само Творение – это, конечно, чудо, первочудо. Но это такое чудо, которое в своей чудесности единственно и уникально, как уникален Творец. Все остальное будет заведомо

менее чудесно. Из этой иерархии несопоставимости Творца и Творения позже разовьется идея профанности, нечуждести.

Генезис и эсхатология

В монотеистических традициях, как правило, существует два важнейших элемента — это происхождение, онтогенез (Книга Бытия, с которой начинается Библия) и эсхатология — учение о Конце Света (Апокалипсис). При этом *каузальный детерминизм утверждается в плане творения мира и растворяется, снимается, как строго предопределенная логическая система, в эсхатологии, в учении о конце*. Стало быть, если мы рассмотрим представление монотеистической традиции о начале времен и о конце времен, то в начале времен мы увидим каузальность, а в конце времен мы увидим телеологический детерминизм. И та реальность, которая описывается в качестве мессианской эпохи, по сути дела парадигмальным образом воспроизводит телеологическую детерминистичность, свойственную премодерна. Иначе говоря, в рамках креационизма есть *два онтологических круга*: один, концептуально связанный с посттрадиционной логикой модерна — это *каузальный детерминизм*; другой — эсхатологический, связанный с манифестационизмом — это *телеологический детерминизм*.

Настоящая и тотальная чудесная реальность начинается в христианстве в мессианскую эпоху со нисхождения Небесного Иерусалима, и это не просто нарушение привычного порядка вещей, но самое принципиальное из возможных событий -- возврат отторженного от Творца Бытия в Его лоно, что, в принципе, нарушает одномерную каузальную логику Творения и утверждает онтологическую связь там, где ее, с точки зрения простой причинной цепи ее быть не могло. Ведь созданное из ничто Творение не может

стать Творцом, так как оно как было, так и есть ничто. Но Конец Света обещает именно такое чудо.

Чудо в христианстве

Христианство — религия, основанная на чуде. На чуде не потому, что Христос осуществлял удивительные вещи, а потому, что сам факт Его воплощения был абсолютно непредставим, невозможен и немыслим в строго каузальной системе иудейского богословия. Мессию ждали, но Бога и Сына Божьего нет. Поэтому о рождении Христа и говорится, что это «ангелам несведомое таинство». Ангелы всё видят правильно, всё в их небесном мире происходит логично, всё просчитано и причинно обусловлено. Всё кроме одного, кроме рождения Сына Божьего как Сына Человеческого. Это действительно *чудо*, потому что открывает человечеству и миру новое упование, новую свободу.

Чудо как исключение

Огрубленно можно сказать, что в рамках монотеистических религий существует *относительная сакральность*, относительная чудесность. Да, чудо всегда может быть, но как исключение, так как нарушает определенную каузальную логику. Мы чаще всего по инерции и оперируем с такой монотеистической трактовкой чуда как исключения. Когда мы говорим «чудо», мы имеем в виду: происходит то, чего быть не может — сбой причинно-следственной цепи.

Человеку манифестационистской традиции — буддисту, индуисту или члену архаического племени -- трудно, а то и невозможно объяснить,

что мы, как представители авраамической (в корнях) культуры, под чудом понимаем *прорыв каузальной причинной цепи*, возникновение явления, которое не предопределено той причинной логикой, признаваемой в качестве подоплеки мира и событий этого мира.

Советский атеизм как урок каузальности

В советских атеистических фильмах несуществование Бога доказывалось следующим образом: седой ученый с бородкой и в халате крутил ручку прибор, где между электродами появлялся разряд электричества – как молния в миниатюре. Он говорил, обращаясь к собравшимся крестьянам или студентам: «видите, как все оно устроено?! А вам попы ввали, что святой Илья по небу на колеснице едет. Это не только Бог делает, но и я могу.» Но и кого бы из креационистских теологов он бы этим удивил? С точки зрения последовательного креационизма, в молнии нет ничего чудесного, это последствие небесных (ангельских) перемещений: ангельские воинства переместились — и молния ударила. Всё логично и понятно. Причинность логического функционирования тварного мира описана иначе, нежели у атеиста-громометателя с его приборчиком, но иное токование каузальных закономерностей ни в чем не умаляют веру. Поэтому религия теоретически способна относительно принять и науку – описание каузальных цепей монотеистического мироустройства не является областью догматики. Есть устоявшиеся модели, как правило, предполагающие в первую очередь символическое истолкование, но в любом случае, выбор рациональных систем объяснения мироустройства – это вопрос, который можно дискутировать.

Атеист с молнией явно обращался не к теологам, но к архаической премодернистической русской национальной сакральной публике, которая, несмотря ни на что, воспринимала мир как нечто *не*

избирательно, но всецело чудесное. Он не столько отсутствие демонстрировал ангелов или Бога, сколько гипнотически настаивал, что мир *механистичен, детерминистичен* с точки зрения его каузальных причин, в то время, как в основе русской национальной психологии лежит именно панчудесность, всеволшебство мира. Он убивал русское в русских. В смягченной форме это делали просветители начиная с петровских времени, постепенно пытаясь окатоличить, рационализировать или протестантизировать русское народное – сакральное! -- православие.

Итак, чудо в монотеистическом контексте — это возможность наличия (грядущего) смысла (цели). Телос, безусловно, есть, но он *связан с нарушениями каузальной системы* и поэтому две модели -- причинная (каузальная) и целевая (телеологическая) -- в истории христианства постоянно накладываются друг на друга.

В модерне чуда нет

Переходим к парадигме модерна. Есть ли здесь чудо? Совершенно очевидно, что в модерне чуда нет и быть не может именно *потому, что* модерн (в своем наиболее чистом – либеральном -- виде) отрицает имманентный смысл и телеологию. Существует лишь система жестко детерминированных явлений, которая может по-разному осмысляться — и как естественный отбор, и как толкание бессмысленных атомов, частиц, столпотворение молекул и инфузорий, *случайно* приводящее к появлению обезьян, а кувырканье обезьян также *случайно* выводит из них первых homo sapiens. И как бы все виды ни мельтешили — у них нет цели, нет телоса стать чем-то другим. Все имеет причину, но ничто не имеет цели. Детерминизм абсолютно нерушим в модерне, поэтому в модерне нет чуда.

Что значит «нет чуда», если говорить уже на языке философии? Это означает, что здесь ни при каких обстоятельствах *не может произойти сбой причинных детерминистских структур*. У каждого явления всегда существует строго определенная совокупность причин, существование которой не подлежит постановке под вопрос. Если мы не знаем этой системы причин, если мы не представляем, что это такое, это не значит, что ее нет. И дальше начинается современная наука.

Современный мир — это *le monde desenchante, entzauberte Welt* (М.Вебер) это мир раз-очарованный, расколдованный, у которого нет *очарования*, который утратил свою чудесность, утратил свое *веселое* измерение. Это унылый и грустный мир, в *котором нет и не может быть чуда*. В нем много чего есть, а чуда нет. И в нем нет цели и значения, этот мир не ведет никуда, этот мир просто есть, он сложился, у него строго определенная структура и эта структура неотменима. Тотальная каузальность парадигмы модерна полностью отрицает возможность сбоя, и этим она фундаментально отличается от монотеизма..

Черное чудо

Мы рассмотрели

- *всечудесность* манифестационистского преמודерна,
- *избирательную чудесность* монотеистических парадигм,
- *бесчудесность*, расколдованность парадигмы модерна

и теперь подходим к постмодерну.

В постмодерне снова появляется чудо. Но каково его значение, *что это за чудо?* Я это определяю термином «черное чудо». Почему оно «черное»? Потому, что *это чудо принципиально не имеет смысла*. Представьте себе, что происходит нечто фантастически увлекательное, только абсолютно ни к чему не ведущее, ничего не означающее.

Детерминизм в системе постмодерна полностью разложен, размыт, подвергнут эрозии. У явления, которое происходит в мире постмодерна, нет причины (то есть причина его может быть любой). Мы можем произвольно выбрать любую гипотезу и сказать, что это произошло потому-то и потому-то, либо нечто прямо противоположное.

Поскольку существует размытая каузальность, и всякое явление оторвано от своих причинно-следственных связей, то оно может быть таким, а может быть иным, оно *может быть*, но *может и не быть*. Так появляется онтология чистой случайности, алеаторная онтология. Мы выходим за сферу жесткой решетки модерна, которая предопределяет каждое явление. *Чудо становится возможным, потому что оно не невозможно*. Поскольку не существует четкой уверенности в причинно-следственной предопределенности происходящего, то почему бы не произойти некоему чрезвычайному и необычному явлению? Более того, почему бы не происходить только чрезвычайным и необычным явлениям и почему бы не воспринять всё, происходящее с нами, как чрезвычайное и необычное? «Почему бы и нет?» — говорит человек постмодерна и начинает постепенно втягиваться в обаяние этого предложения.

Виртуальность как таковая, ее наступление, прогрессирующее завоевание ей пространства нашей жизни и представляет собой постмодернистское чудесное. *Виртуальность — это черное чудо*. Почему? Потому что оно бессмысленно. И это характерная черта постмодерна. *Чудо в постмодерне происходит ни для чего*.

Если в премодерне чудо свидетельствовало о тотальной пронизанности лучами бытия всех уровней жизни, всех существ, если

в монотеистических религиях чудо определяло сбой в жесткой модели соотношения Творец-Творение и показывало перспективу возможной искупительной эсхатологической свободы, если в парадигме модерна чуда не было вообще, то черное чудо постмодерна возможно, оно есть, но оно *бессмысленно*, оно не имеет ни цели, ни значения, оно вообще ничего больше не означает. Черное чудо есть и просто призывает нас признать это как факт.

Камни, падающие и летающие

Существует энергия черного чуда. Эта энергия заключается в ироничном опровержении причинных сетей. Например, человек бросает камень вверх, и он не падает, а улетает куда-то выше и выше. Зачем он бросил этот камень? Трудно сказать. Но камень летит, летит, и люди провожают его недоуменными взглядами. Здесь важно не опровергнуть теорию гравитации, не доказать, какой это сильный человек. Это ироничная издевка над нашей привычкой к тому, что подброшенный камень обязательно падает. Но падал-то он, фатально падал, обратите внимание, *только в модерне*. До наступления эпохи модерна у подброшенного вверх камня была совершенно иная траектория. Мы знаем, что в христианском мире люди верой с горчичное зерно двигали горами, святые люди появлялись в разных местах одновременно, и совершенно не факт, что все подброшенные христианами камни обязательно падали. Думаю, большинство все же падало, но это никак не вытекало из христианского учения, а значит, были камни, которые не падали. Православная традиция утверждает, что один из русских святых, Антоний Римлянин, Новгородский чудотворец, приплыл на Русь на камне. Камни срывались в библейском рассказе о сне Навуходоносора без помощи рук человеческих. И если мы рассмотрим мифологию камней в традиционном мире, то мы увидим, что чего только с ними не происходило... На камнях плавали, на них летали, на них ездили, их ели, в них входили, как Мерлин, из

них рождались, как Митра, то есть камни жили своей насыщенной каменной жизнью и периодически обнаруживались в самых невероятных контекстах. У них была самостоятельная напряженная, насыщенная судьба, поинтереснее, чем у многих двуногих.

Конечно, в христианскую эпоху с камнями было чуть сложнее, чем прежде, но были тайные камни — камень Святого Грааля, волшебные изумруды, которые делали людей невидимыми — то есть в истории камней, их взлетов и падений было множество примеров сбоя детерминистской причинной сети.

По-настоящему роковым образом камни начали падать только у Ньютона, после того, как ему на голову упало яблоко. После этого все камни стали лететь с ровно одинаковой скоростью g и всегда вниз.

Но давайте посмотрим, что происходит с камнем в постмодерне. Почему он летает? Потому что *это удачный рекламный ход*. Например, открывают бутылку пива «Tinkoff», пробка летит вверх, исчезает из вида и не возвращается... Это падение камня вверх вместо падения вниз, предполагавшегося в эпоху модерна, — по большому счету *не означает вообще ничего*, просто смотри и дивись. Это не означает ни опровержение закона Ньютона, ни его подтверждение, это просто вообще ничего не означает, и человек думает: ну, что-то выпил я вчера лишнего, или перебрал дозу. Надо «Tinkoff» хлебнуть... Такое явление принадлежит к категории простейших черных чудес постмодерна.

Черный праздник бессмысленности

В постмодерне может произойти всё что угодно, но только с тем условием, что это не будет ничего означать. Как только в постмодерне происходит чудо со смыслом, чудо, имеющее своей задачей или своей

подоплекой некое указание, например, на сбой каузальных сетей или на чудесность мира, вот такое чудо мгновенно будет аннулировано, оспорено, разоблачено, осмеяно и дисквалифицировано: оно не пройдет. Происходят только бессмысленные, идиотские чудеса, которые ничему не учат, никого ни к чему не обращают, а просто сиюминутно иронично отвлекают нас от той бездонной скуки, в которой человек постмодерна пребывает. Это -- *сиюминутная мгновенная вспышка ироничного интереса, который тут же растворяется во всепоглощающей скуке.*

Для того, чтобы человечество не сорвалось в никуда и не размазалось по бетону, эти черные чудеса пролиферируются Системой, чтобы мы не могли ни на секунду освободиться. Если камень не падает, значит, происходит уже что-то другое. Главное — привлечь вспышку нашего онтологического внимания, чтобы высосать из людей последний интерес к тому, что их окружает.

Понятно, что уже никто не будет ходить на лекции по устройству паровой машины, заниматься физикой, математикой, это уже не интересно. Модерн утратил свое обаяние, он разрушил всё, что мог, он разрушил всю традиционную цивилизацию, но и сам он исчерпал свой потенциал, он не интересен, и люди, когда им говорят что-то о модерне, о прогрессе, о социальной справедливости, зевают. Даже самые убежденные, даже троцкисты спят, уж не говоря об обычных людях, поскольку модерн полностью утратил свой шарм, он больше не привлекает, он всё, что можно разрушил, он всё, что можно окутал (бесцельными) каузальными сетями и закончил свое существование. Сегодня нас может привлечь только нечто экстраординарное, нечто постмодернистское, нечто из категории черных чудес.

Телепортация

Что можно привести как примеры черных чудес? Черное чудо — это, например, телепортация. Когда говорят, что сейчас идет ускорение средств коммуникации, это верно. В традиционном мире тоже была телепортация, но она была «обычная» — человек проснулся в одном городе, выпил в каком-то другом, а лег спать в третьем, и каждый из этих городов был отделен от прочих огромными расстояниями. Но это только в профаническом мире километры имеют строгое количественное измерение. С точки зрения традиционного мира, между разными точками пространства есть многомерные маршруты. Есть тайные подземные коммуникации, где от Москвы до Токио рукой подать, а от квартала в квартал одного и того же города не дойти за всю жизнь... ОБ этом повествуют предания о путешествиях на ветре, на ковре-самолете, на коньке горбунке или на особом животном Бураке, как это сделал Мухаммед в своем волшебном путешествии из Мекки в Иерусалим.

Сегодня черное чудо телепортации осуществляется с помощью мобильных, интернета, самолетов, то есть на самом деле человек сегодня здесь, а завтра там, практически как и в чудесном традиционном мире. Единственное отличие в том, что его путешествия, его перемещения и содержание его коммуникаций утрачивают какое бы то ни было значение.

Сегодня все могут говорить со всеми по мобильнику, но давайте послушаем, *о чем* люди говорят, о чем мы сами говорим. Давайте зафиксируем, запишем в дневнике переговоры с другом, со знакомыми или с родственниками. И если всё это записать, а потом внимательно, немножко отстраненно на это посмотреть, то мы поймем, что, несмотря на колоссальные средства и возможности коммуникации, содержательная сторона коммуникации резко снижается. Мы, в принципе, несем ахинею, говоря по мобильному, посылаем SMS или MMS, платим за это, но по большому счету мы никому ничего не сообщаем, мы ничего нового не узнаём. Телеология этого коммуникационного процесса крайне незначительная, а то и вовсе отсутствует.

Раньше люди для общения ходили друг к другу в гости из одной деревни в другую: пока соберешься, пока отправишься, а там дождь пойдет — приходится откладывать, потом дорогу развезло, а по дороге волки встретились, разбойники — целая жизнь, но когда уже дошел до другой деревни — сел и поговорил по-настоящему. Передал целый мир, рассказал, о чем думал, пока шел, пока с волками и разбойниками возился. В этом случае коммуникация приобретала огромный смысл. Сегодня она облегчается, пространство исчезает, а вместе с этим ускользает содержательная сторона. И в принципе, сейчас у молодых людей становится уже всё более и более модным просто хрюкать что-то в телефон друг другу, мычать, лаять, мяукать, издавать какие-то причмокивания, совсем как в российской эстраде... Кто-то звонит кому-то в метро, говорит: «Хочешь, я тебе сейчас Катю Лель спою?» И поет что-то непонятное. Эта коммуникация, в принципе, принадлежит к категории черных чудес. Можно на огромном расстоянии в любой момент поговорить с коллегой. Но о чем? И вот в этот момент, когда человек задумывается «о чем», ему опять становится очень грустно и, чтобы дальше не думать об этом, он подсаживается к телевизору, чтобы посмотреть, как там на Гавайях или куда-то на самолете летит.

Бизнес как чудо

Огромное количество человек, кстати, считает, что бизнесмены — это деловые люди, которые делают реальность. Я тоже так думал, пока немножко с ними не познакомился. Более бессмысленного занятия, чем бизнес, по крайней мере, в России, не существует. Люди перелетают через полмира, они сидят и теряют часы, недели и года в каких-то переговорах, а в результате сделок практически не происходит, потому что все деньги идут каким-то совершенно свободным и автономным от этих переговоров путем. И если они есть — то они и есть, а если их нет, так их и не прибавляется. И вот эта огромная бизнес-активность российского бизнес-сообщества — это

просто некое прикрытие алеаторных коммуникаций. На самом деле, бизнесменам просто нравится летать на самолетах, менять офисы — в одном офисе пальма, а в другом уже пальмы нет, а там рыбки с аквариумом, причем, чем более бедный бизнесмен, тем у него более красивые, дорогие и мощные рыбы в аквариуме. По сути дела — это тоже черное чудо, черное чудо бизнеса.

Клоны

Какие еще чудеса готовит постмодерн? Это чудо клонирования, то есть *серийного воспроизводства людей*. Раньше у людей были четкие причины — папа и мама, которые друг с другом познакомились, подружились, стали друг за другом ухаживать, кокетничать, женились наконец-то и появились дети. Есть причина? Есть. Уже в модерне смысла в детях стало меньше, а причин больше. Папа и мама случайно сходились, а результатам своих схождения постфактум придумывали какое-то оправдание -- дети нужны, чтобы родину защищать, чтоб рабочие места создавать, чтоб потребление увеличивать. То есть смысл был размытый, а папа с мамой — настоящие. В постмодерне смысла у детей не будет, как и в модерне, но не будет и папы с мамой. Дети поэтому будут рождаться уже взрослыми и самостоятельными, осмотрительными и рассудительными. Практически с седыми висками. Первое, что они увидят в своих колбах — озабоченное лицо профессора, меняющего им раствор.

Бессмертие

Бессмертие — еще один элемент черных чудес. Мы знаем, что раньше активно велись процессы криогенной заморозки разных состоятельных и влиятельных граждан в надежде на грядущие чудеса науки в целях последующего воскресения. Так, Уолта Диснея создателя мультипликационной американской неомифологии заморозили на будущее... Теперь их уже начинают потихоньку размораживать. Говорят, уже есть несколько размороженных в Америке. Это бессмысленное воскрешение весьма показательно описано в двух литературных произведениях — у Густава Майринка и у Юрия Мамлеева. У Майринка в «Белом доминиканце» неоспиритуалистский псевдо-Машиах воскресил на своих радениях какого-то сбитого телегой нищего, и его поклонники кричали: «Чудо! Чудо! Пришел Мессия!» Но потом, примерно через день, этого нищего опять сбила телега. Именно в последнем обстоятельстве и вскрывается характерный признак черного воскрешения: зачем кого-то воскрешать, если его всё равно через день собьет телега?

У Мамлеева есть роскошный сборник повестей «Небо над адом». В одной из частей, «Что сверху, то и снизу», тоже действует черный мессия со странным именем Панарель. Он так же, как и майринковский персонаж, воскрешал разных существ, в основном животных, но дворовые мальчишки дразнили его тем, что приносили ему дохлых кошек, он тоже их воскрешал, они их еще раз убивали, а он их еще раз воскрешал и так за день он воскрешал бесконечно целую гору дохлых кошек. Тоже пример черного чуда.

Наше внимание переходит от проблем бедности, миллионов недоедающих африканцев к домашним кошечкам или к судьбе дворняжки, у которой заболела ножка... Действительно, с помощью колоссальных средств современной медицины врачи могут воскресить дворняжку, ну а то, что миллионы за это время сгинут, — не принципиально, поскольку гуманизм тоже подвергается в постмодерне эрозии, как и всё остальное.

Двойники

Еще одно черное чудо — *редупликация* “я”. Это тоже очень показательно. Речь здесь идет не о клонировании в смысле производства людей, а об игровой редупликации, о геймерском отношении к миру. Компьютерные игры представляют собой одну из форм чудес, потому что человек, играя в компьютерную игру, может быть любым. Если он прыщавый подросток-недоумок, то в игре он — огромный мускулистый герой, который размахивает мечом, нападает, насилует, убивает, брызжет кровь по всему экрану. И таким образом, происходит трансферт личного “я”. “Я” — «реальное», фиксированное, модернистское “я”, — всё больше и больше сужается или, наоборот, пухнет от гамбургеров, не вмещается уже ни в какие кресла (недавно один подросток умер от истощения, не в силах оторваться от компьютерной игры), а клонированное “я”, виртуальное представление о себе как о храбром герое, о бодром сверхчеловеке начинает становиться постоянной идентификацией человека.

Наркотики

Важнейшим элементом постмодерна становятся наркотики. Наркотики выполняли разные функции на протяжении эпохи модерна, но постмодерн без них практически немыслим. Наркотики — это и есть прямой билет в постмодерн. Человек покупает дозу, как билет на трамвай, и оказывается в мире черных чудес.

Что такое наркотики? Прежде всего — это *псевдоинициация* или *расчлененная инициация*. Это инициация в частичную сакральность при условии того, что происходит отказ от какой бы то ни было цельности. В наркотическом опыте обнаруживается подоплека мира

— то, что находится *чуть глубже*, чем мир телесных форм и поверхностных чувств и мыслей -- но только во *фрагментарной форме*. Смысл наркотического опыта и пролиферации наркотиков в том, чтобы *показать часть и никогда не показывать целого*, и более того, показать часть таким образом, чтобы *целое никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя было разглядеть или им заинтересоваться*.

Сакральность премодерна цельна, это своего рода «пан-наркотизм», потому что здесь вообще нет разницы между чудесным и не чудесным, волшебным и не волшебным, энергийным и не энергийным. Сакральность креационизма — *избирательна*. Сакральность модерна *отсутствует*. А вот черная сакральность постмодерна, наркотическая сакральность — *фрагментарна*.

Yeti и стержни

Часть постмодернистических чудес описана в достаточно привычных реестрах неоспиритуализма и параллельной трэш-культуры, на нем основанной. То, что мы видим по телевизору в «X-Files» — НЛО, стержни, инопланетяне, снежные люди, — всё это приходит в постмодерне и становится нашей реальностью. Это не выдумка, это не воображение. Что такое снежный человек, Yeti? Если премодернистические драконы, гномы, эльфы, нимфы и фавны соотносились с очень серьезными, фундаментальными аспектами онтологии, то снежный человек — это как раз элемент предельно идиотской имажинерии представителей постмодерна. Это некое существо, которое ни к чему не ведет, ни о чем не сообщает нам, оно, в принципе, на нас очень похоже, но немножко отличается. И размышление о снежном человеке, ловля снежного человека, вырезание из газет заметок про снежного человека представляет собой одно из чудесных хобби постмодерна.

Совсем недавно я видел совершенно замечательную передачу про *стержней*. Это некие летающие молодцы, которых иногда видно, иногда нет. Есть симпозиум, посвященный стержням, люди собираются, изучают их, один летчик даже снял этот стержень. Фактически создается некая культура снежных людей, стержней, инопланетян, которая дает нам реестр черных чудес.

Теперь вопрос: *почему мы скептически к этому относимся?* Да потому что в нас сильны пережитки модерна. Если бы мы были полноценными людьми постмодерна (а мы скоро ими станем, не волнуйтесь), то мы бы рассматривали все эти явления точно так же, как мы слушаем какой-то клип или воспринимаем информацию по телевидению. По большому счету, черные чудеса постмодерна сосуществуют с черными не-чудесами постмодерна, то есть они уравновешены между собой. Например, выступление какого-нибудь российского политика — это тоже черное чудо. Вы повнимательнее послушайте, *что* они говорят. Если мы постмодернистически к нему отнесемся, то поймем что всё его выступление — это нелепость, на самом деле, не меньшая, чем выступление Джонни Мяу-Мяу или Кати Лель.

Но пока еще грань между чудесами и не-чудесами постмодерна существует. Мы говорим себе: вот это передача ложная, а здесь нас «грузят», это «Очевидное-невероятное», в 15.00 нам расскажут про экстрасенсов и НЛО, а вот эта передача «про политику». В постмодерне чудеса и не-чудеса перемешиваются между собой. Постмодерн — это пролиферация черных чудес в том смысле, что передачу про снежного человека и репортаж из Госдумы мы должны схватывать на одном дыхании, это, в принципе, одно и то же. Не то, что это плохо или безумно, не то, что это хорошо или осмысленно, но всё это принадлежит пространству черных чудес. Жириновский в этом смысле как раз принадлежит к переходной стадии: это (еще) полу-политик, но (уже) полу-снежный человек.

Тот спектр реальности, который в модерне был исключен (еще не придуман или просто отсутствовал), сейчас приходит к нам, поэтому

если через некоторое время к вам в квартиру позвонит Yeti, то в этом не будет ничего удивительного, он так же принадлежит к нашему миру, как сборщик подписей или рекламный агент «Кока-колы», он имеет всё те же онтологические основания в нашей постреальности, в реальности постмодерна.

Могут спросить: где можно увидеть этих снежных людей? Кто видел инопланетян? Однако точно также было и в древности, когда люди видели фавнов, — не каждый ведь их видел, но все понимали, что они есть и без них никуда, — и в эпоху модерна, когда все, казалось бы, видели молекулы и атомы, а, на самом деле, их тоже никто не видел, но все опять-таки понимали, что без них никуда, а теперь точно также вот эти гады существуют в нашем пространстве, поскольку *что́ на самом деле есть* — это вопрос онтологической парадигмы, а не вопрос опыта. Онтология же предопределяется распределением субъектно-объектных ролей, а также их коммуникационными или гносеологическими соответствиями, проистекающими из парадигмы.

Интересен не снежный человек, интересно, что в парадигме постмодерна он есть или «пост-есть»... Черные чудеса — это абсолютная реальность постмодерна. Но только надо сделать скидку на то, что сам постмодерн определенным образом «пост-есть»...

Часть 2. Постпространство

Среда черных чудес

Интересно посмотреть теперь, как изменяется представление о пространстве в рамках тех парадигм, которые мы кратко рассмотрели.

Для того, чтобы совершаться, черные чудеса должны иметь некую совершенно специфическую *среду*. Понятно, что снежный человек в мире модерна практически не встречается. Нет таких пейзажей, нет таких земель, нет таких гор, где он водится. *Он водится в горах или в пространствах постмодерна*, это надо понять. Соответственно, это пространство постмодерна должно быть качественно и существенно *иным*, нежели те пространства, которые мы знали раньше.

Здесь мы выдвигаем тезис: *черные чудеса реализуются в постпространстве* (мы уже говорили, что называя любое из явлений постмодерна, необходимо добавлять приставку «пост», потому что ничего из того, что мы определяем или с чем имеем дело, не может быть названо старыми именами -- каждая вещь, переходя из модерна в постмодерн, качественно меняет свою природу). Подобным образом, кстати говоря, следовало бы поступать, — что и делают внимательные исследователи, — и при рассмотрении традиционного мира. В премодерне тоже вещи были совершенно иными и существенно изменили свое содержание, свою природу, свое качество, свое бытие, попав в парадигму модерна. В постмодерне происходит следующий этап этого «пресуществления», *превращения вещи в нечто иное*. Хотя, точнее будет сказать, не вещи в нечто иное, а парадигмально понятой вещи в парадигмально понятую иначе вещь.

Пространство в премодерне: холос

Каково пространство в премодерне? Это пространство холистично (от греч. ὅλος — то есть целое). Это -- *пространство, переходящее в радость*. Это пространство веселое и исступленное, то есть *экстатическое*. Оно выходит само из себя. Ни одна вещь не стоит на месте. В каждой вещи, в каждом предмете, в каждой точке пространства содержится *вход* в нечто еще. Такая перенасыщенность, *многопространственный* характер каждой точки определяют

энергичную упругость пространства традиционного мира. Это *пространство живое*. В нем вообще не было ничего, что было бы не наделено признаком витальности: там живая земля, живое небо, живые ветры, живые люди, живые покойники, там в принципе нет того, что было бы полностью в покое или в самодостаточной неподвижности, что было бы просто тем, что оно есть. В премодерне всегда присутствует энергетическая насыщенность того места, где мы находимся, того, что нас окружает, -- *насыщенность чем-то еще*. Это и есть исступленное пространство.

В такие миры, в такие beatitudные состояния прозрения впадали многие католические мистики. Они говорили: вот упал я после молитвы и увидел роскошный сад... Переживание удивительно пронзительной волшебной ткани опьяняющего присутствия, простертой вокруг человека, — ощущение, которое на высшем пике озарения переживали мистические созерцатели, — для обычного представителя традиционного общества в архаическую эпоху было нормой, бытовой «сельскохозяйственной» нормой.

Клюев замечательно описывал сакральность русской избы, сакральность русской печи, русских кур и русских сугробов. Там были сакральные комары, сакральные валенки, сакральные самовары. Даже элементы, завезенные из города — какие-то болты, которые были неприятны Клюеву, всё равно приобретали некое дополнительное фундаментально таинственное значение.

А вот так Клюев в «Песни о великой матери» описывает изгнание дух модерна (Запада) из завезенного из Англии сукна, прежде, чем из него был пошит детский зипун:

«Шептали в ответ сапожки:

«Тебя привезли рыбаки,

И звали аглицким сукном,

Опосле ты стал зипуном!

*Сменяла сукно на икру,
Придачей подложку-сестру,
И тетушка Анна отрез
Снесла под куриный навес,
Чтоб петел обновку опел,
Где дух некрещеный сидел.
Потом завернули в тебя
Ковчежец с мощами, любя,
Крестом повязали тесьму*

*Повывесть заморскую тьму,
И семь безутешных недель
Ларец был тебе колыбель,
Пока кипарис и тимьян
На гостя, что за морем ткан,
Не пролили мирра ковши,
Чтоб не был зипун без души!»*

«Зипун без души», то есть пронизанный «заморской тьмой» -- это *вещь парадигмы модерна*, и прежде чем русский сакральныи человек использует ее, он должен предварительно перевести ее в парадигму преמודерна – т.е. освятить. В данном пассаже описано, как это делали олонецкие старообрядцы.

Солярная топография Традиции

Веселое иступленное пространство, пространство холистское обладало совершенно иными качествами, нежели ньютоновское пространство. *Оно замыкалось в чашу.*

Это пространство никогда не было маленьким или большим, не было больших или маленьких городов, не было затерянных селений, не было одиноких хуторов, не было представления о столице и периферии, провинции, пустыне. Пространство в мире Традиции на самом деле начиналось и заканчивалось в соответствии с совершенно иной логикой, оно было замкнутым, шаровидным. Пошел человек, например, в соседнюю деревню. Шел он, шел, и в какой-то момент не заметил, что идет уже как будто по стене, потом по небу, по Млечному Пути, потом возвращается к себе обратно в деревню.

В традиционном мире всё двигалось *по кругу*, там преобладала солярная топография. Солнце, звезды, боги, духи, люди, звери, — они все ходили по кругу, причем было не важно, куда двигаться. Куда бы человек ни пошел, он приходил приблизительно на те же самые замечательные просторы, как если бы он никуда ни ходил. Пространство могло открыть свое содержание, рассказать о себе и о других повесть, если человек просто замирал и смотрел на колебание травинки под весенним ветерком. Вся гамма происходящего в этот момент на маленьком узком стебле представляла собой для него колоссальное постижение смысла, сопоставимое по содержанию, например, с кругосветным путешествием.

Это пространство не имело границ, не имело четкого предела, оно было *изоморфно*, по нему люди могли ходить вверх головами, вниз головами, как антиподы, могли ходить по вертикали. Живые, мертвые, собачки, травинки, звезды, боги, демоны — всё это кружилось в

едином неразрывном пространственном ансамбле. И люди осмыслили это существование таким образом – открыто и ужасаясь.

Всё было очень интересным в Традиции. Но не только потому, что там было что-то неожиданное. Там просто отношение к обычным вещам и явлениям было особым. Например, повседневное обращение с утварью, дойка коровы или кормление свиньи составляли по своей содержательности и насыщенности целые детективные истории. Например, побежала за свиньей — не догнала, упала, растянулась. Целая динамика, целая жизнь.

Пространство всегда было символически расчерчено, кодифицировано. Например, знали, что за рекой — деревня, скажем, Малые Хари, а здесь Большие Хари. Было очень четкое представление, что туда пойдешь — такой-то большой, стольный город найдешь, а туда лучше не ходить — овраги там одни, да болота. Но, тем не менее, это представление о строго определенном пространстве всегда было полно дополнительных элементов. Чуть позже мы поймем, что именно эти *дополнительные элементы*, обнаруживаемые помимо четкой ориентации — право-лево, север-юг, запад-восток, верх-низ, деревня -- город — именно *эти свои координат*, искривления маршрутов как раз и делали пространство священным.

Великий священный сучок против евроремонта

Когда-то, занимаясь протоиероглифами Германа Вирта, я задумался о происхождении *самого элементарного символа*, первосимвола, если угодно. И я пришел к выводу, что речь здесь должна идти о некой маленькой не прямой линии — *сучке или ветке* — отображающей самую глубинную и самую архаичную форму сакральности. Не случайно бабки-колдуньи делают на сучках специальные заговоры,

которые, говорят, лечат даже в безнадежных случаях. Они этот сучок растирают, потом побрызгают, плюют на него, трут, и всё проходит.

Идея сучка, погрешности, щепки, неровности, неточности, наличия непредвиденного обстоятельства, которое не предполагалось, распознается традиционным человеком повсюду. Традиционный человек, традиционное общество в пространстве любит *фон*, любит не саму дорогу, а ее изгиб и лужу посреди нее. Даже простой окуроч, не уместно брошенный, может выполнять функцию совершенствования пейзажа до его сакральной цельности.

Самым несакральным, нехолистским пространством является чистый аккуратный евроремонт, где одни прямые линии, полное отсутствие пятен, перекосов стен и т.д. Евроремонт — это результат огромной работы по *десакрализации холистского пространства*. Поэтому человека, который ближе к традиционному обществу, когда он заходит в комнату, где царит беспорядок, охватывает более доброжелательное чувство, чем если бы он зашел комнату с идеальным порядком, потому что в беспорядке, в отклонении от нормы *копошится жизнь*, безукоризненно и очень точно схватываемая архаическими пластами внимания. А жизнь, на самом деле, именно такова, она шероховата, она ускользает, она кривая, она похожа на сучок или на ветерок, на что-то, что в принципе не ожидается. И сакральное пространство таково, оно замкнуто, бестолково и весело, оно исступленно.

Координаты экстаза

Пространство премодерна имеет экстатическую структуру. Конечно, у этого сакрального пространства есть Север и Юг, есть право и лево, есть восход и закат, есть верх и низ, это всё есть, но во всём этом обнаруживается элемент неопределенности. Например, идя на Север, можно попасть на Юг или, спускаясь в могилу, можно попасть на небо

или не уходя никуда, а просто совершая определенного рода операции на печке (почесываясь, например), можно совершить реальное путешествие в те миры, которые действительно содержательны, интересны и осмысленны.

Иными словами, в сакральном пространстве есть ориентация, это не чистый хаос. Речь идет, конечно, не о том, что абы куда пойдешь, обязательно куда-то придешь — это еще не «Русский маршрут», — у сакрального пространства есть характерная структура, но эта структура — *приблизительная*.

Я недавно представил себе картину, которую, наверное, где-то опубликую в качестве иллюстрации к «Русской Вещи» и «Русскому маршруту». Суть этой картины в том, ось x и ось y расположены на ней не прямо, как нас учили, а криво и при этом еще и все время движутся, как ветки дерева от дуновений ветра... Вот такого рода оси координат, живые ветви, и являлись фундаментальными планами-картами сакрального пространства, живого пространства. Оно размечено, но эта размеченность странна, схватить ее логику очень трудно, это некая сновидческая размеченность, которая, тем не менее, интегральна. Она вводит человека в цельность, которая начинает открываться уже повсюду. И если правильно понимать это традиционное пространство, пространство парадигмы премодерна, оно, действительно, станет небесным пространством. О многих сакральных центрах так и говорится: «это небо на земле», «это райская страна», «это неземная земля»... Поэтому, с точки зрения сакральной географии, Россия представляет собой пространство Святой Руси. По сути, она и сейчас такова --- стоит здесь дотронуться до дерева, до бобра, до воды, как сразу же откуда-то вас пронзает русская национальная молния, которая *приведет нас сразу к бытию всего*, не просто к бытию отдельного бобра, отдельной березки или ручья, а к бытию всего.

Пространство модерна

Естественно, такого пространства, как в премодерне, в модерне не было и в помине. Что такое пространство модерна? Генетически оно происходит из пространства премодерна, но является его *отрицанием*. Пространство модерна структура не экстатическая. Это пространство мертвое, пространство, которое не дышит. Это не пространство-организм, не пространство-существо, а пространство-механизм.

Пространство Традиции умирает, и из этой смерти рождается пространство модерна. При переходе к парадигме пространства современности происходит выпрямление реальных, настоящих, древесных, спиралевидных осей координат. В модерне пространство начинают жестко описывать, *переводя тем самым белые пятна упования в черные кляксы скепсиса*.

Обратите внимание, каковы чувства большинства эпических путешественников модерна, описываемых, например, Кипплингом. Возьмем его описание Индии. Носитель белой культуры ходит по бесконечной помойке, где сидят миллионы грязных загаженных придурков и возятся в своем дерьме. И он идет, смотрит и думает: какая же все тщета... В куче мусора сидит и гложет кость какой-то шиваит. По священной реке Ганг текут экскременты и обгорелые трупы. Вокруг проткнутые иголками, булавами и мусором голодные голые мужики с бородами, бесконечные вонючие заросли, гноящиеся, сочащиеся малярийной влагой отвратительно зеленые джунгли, инсекты и болота. Об одной только малярии сколько страниц...

География разочарования: пространство тщеты

Читая о путешествиях у авторов модерна, мы узнаём, как пираты или матросы съели несвежие галеты или отравились крысой, заболели

холерой, а когда всех обманом выкинули на остров каннибалов, все бесславно сдохли. Отличная иллюстрация этого – среди многих других – фильм Вернера Херцога «Агирре – Гнев Божий» о латиноамериканских конкистадорах.

В пространстве эпохи великих географических открытий человек модерна обнаруживает *тщету*. Это -- *мертвое пространство*. Да, он описано отныне скрупулезно, точно и детально, горы карт навалены друг на друга. Но это анатомия трупа. Пространство из живого становится мертвым. Да, его изучили, точно описали длину кишок, описали, как бьется его сердце. Но благодаря этой анатомии пространства, жить стало не с чем. Те белые пятна, которые оставались, по сути, были уголками Традиции, пока их не добились, не доконали тоже.

В географии модерна происходит расколдовывание мира, это география *désenchantement*, география утраты очарованности, это *разочарованная география*. Мы знаем из нее, по какой точно широте протекает та или иная река, где находится та или иная гора, но мы абсолютно не знаем ничего о жизни этих объектов. По сути дела пространство стало тем, что подлежит колонизации, даже если это пространство рядом с вашим собственным домом. Такое отношение к пространству как к тому, что подлежит колонизации, распространяется даже на собственный огород, поэтому у людей модерна он такой аккуратный. Почему, вы думаете, у немцев в Европе всё так аккуратно, а нас, русских, это fasciniрует? Просто они колонизируют собственные огороды. Это абсолютно для нас непонятная вещь. Они относятся с тщательным умерщвлением и утилизацией, рационализацией и музеефикацией ко всему, что им принадлежит — включая деревья, травы, овощи. Они превращают их из живых священных вещей в мертвые объекты.

География модерна — это пространство, целиком превращенное в музей. Не только руины каких-то храмов или развалины каких-то древних поселений, но даже просто дорога или развязка на шоссе современной Европы представляют собой фрагменты музея.

К пространству постмодерна - дескриптивный дубль

На стыке модерна и постмодерна возникает провокационное стремление *отождествить описание пространства с самим пространством, уравнивать между собой пространство и его дескриптивный дубль*. Дескриптивный дубль пространства — это абсолютно точная карта, где строго отложены метры, сантиметры, миллиметры от одной горы до другой, от населенного пункта до населенного пункта, от речки до речки, от границы до границы.

Демаркация границ стала фундаментальным элементом этого мертвого, музеефицированного отношения к пространству. Раньше границы между одним государством и другим были приблизительными, это были *границы-полосы* ⁽³⁾. Половцы подъехали ближе, значит, граница сдвинулась, русские отодвинули половцев назад — граница менялась. Граница жила. Жизнь границы была связана с жизнью пространства: сначала пришли римляне, потом ушли римляне, и всякий раз вместе с римлянами менялись рельефы, пейзажи, те территории, по которым эти римляне топтались, за ними или от них неслись галлы, германцы, славяне и масса других замечательных людей древнего традиционного мира.

Постепенно это живое дышащее пространство стало настолько жестко изучаться, музеефицироваться, что, в конечном итоге, возник дескриптивный (описательный) дубль. По большому счету, уже не принципиально, был ли человек на Памире или только видел карту Памира, потому что, по сути дела, он просто может пересказать всю ту релевантную (с точки зрения модерна) информацию, которую может собрать путешественник, и даже больше, просто разглядывая карту Памира.

Вот это дескриптивное отношение к пространству, представление о том, что точное знание схемы или музейного дубля и является *тождественным* знанию самого пространства, пребыванию в этом пространстве, привело к очень показательному явлению: возник *пространственный дубль природы*, который, по сути, представлял собой вначале довольно неуклюжую систему бесчисленных карт. Мара Mundi, которые стали рисовать в эпоху великих географических открытий, стали закреплять парадигму модерна применительно к пространству.

Клонирование пространства: субъект и протяженность

Постепенно от этой довольно неуклюжей еще, технологической модели стали переходить к более совершенным имитациям, муляжам пространства, в конце концов к *клонированию пространства* в виртуальном исполнении.

Здесь начался очень важный процесс: *вместе с пространством стала клонироваться и виртуализироваться природа*. Поскольку природа и пространство для человека модерна являются декорацией и воспринимаются как декорация, отсюда возникает дуализм Декарта: *sujet et l'étendue*, то есть рационально мыслящий субъект и протяженность, которая перед ним, а всего остального нет. Это яркий пример ортогонализации отношения человека модерна к пространству. Раньше, в премодерне, не было ни такого субъекта, ни такой *étendue* (протяженности), но было много чего другого и очень интересного. Теперь осталось только двое – рассудочный субъект и протяженность перед ним. Всё. Нет ни нимф, ни фавнов, ни духов, ни покойников, ни пьяных миров ускользающего смысла, за которым гоняешься как сатир за наядами, ничего. Только субъект и *étendue*. Удивительно скучная картина.

В такой ситуации природа и пространство являются декорацией, вначале они воспринимаются как декорация, потом они отождествляются с декорацией, а далее возникает интересный момент: когда декорация и пространство, то есть схема и реальность, которую эта схема призвана описывать, становятся рядоположенными, то есть приблизительно сопоставимыми и взаимозаменяемыми, возникает идея *смоделировать пространство*. Тогда мы переходим к новому пространству или *постпространству*, т.е. к постмодерну.

Вначале живое пространство было высушено до уровня декорации, из живого листа был создан гербарий. А далее была проведена черно-магическая операция по оживлению декорации. Если вначале живое животное было приравнено Ламетри, Декартом и Гольбахом к аппарату, то есть живое было воспринято как аппарат, машина, то дальше уже *аппарат и машину начали воспринимать как нечто живое*. Ведь поскольку животное приравнивается к роботу, то и робот может приравниваться к живому существу, и отсюда пролиферация фантастических сюжетов об оживших машинах. Тематика оживших машин, драма технологических Пигмалионов постмодерна — типичная черта постпространства.

В географических картах модерн распознавал некую причинную структуру пространства, которая является его строгим эквивалентом, за исключением тех погрешностей, неточностей, случайных опечаток, шумов, фонов, приступов болезни, которые могут повлиять на картографа. Он, дескать, рисовал-рисовал, а потом что-то сбило ему руку. Исправление этих погрешностей создавало, с точки зрения картографии модерна, специфическую, но точную копию пространства. И вот на основании этой точной копии, выяснения механической системы пространства в дальнейшем возникла идея: если мы можем оперировать с точной копией, с виртуальным пространством точно так же, как с реальным, то не можем ли мы сделать следующий шаг — *предопределять и изменять* реальное пространство, отталкиваясь от виртуального пространства. Архитектура современных городов в чем-то и есть это порождение

пространства на основе плана. И не случайно первые догадки о постмодерне возникли у архитектурных критиков.

Экран, которого нет

Постпространство — это *пространство, которого нет* в актуальности с точки зрения модерна (пока мы не говорим о том, есть ли оно с точки зрения премодерна...) Но раз то пространство, которое *есть* в модерне — это лишь одна из концептуальных версий и, более того, результат некой *парадигмальной операции* над предшествующей концептуальной конструкцией (пространством премодерна), то почему бы нам не допустить, что постпространство постмодерна в какой-то момент станет единственным и общепринятым. Тогда пространство модерна, которое мы считаем «реальным», будет полностью приравнено к виртуальному, то есть будет моделироваться с помощью искусственных технологий. И не только в компьютерных играх, как это имеет место уже сейчас.

Компьютерные игры — это еще очень грубые макеты... Совсем недавно появились новые прогрессивные технологии, где маленький световой эмитент, размером с булавочную головку, испускает лучи, воздействуя непосредственно на хрусталик глаза, и у человека перед глазами возникает компьютерный экран, которого на самом деле нет. Даже не стоит говорить о том, можно или нельзя сделать это технологически; технологически в постмодерне можно сделать абсолютно всё, вместе с тем можно ничего и не делать, так как любое действие или его отсутствие не имеет ни причин, ни следствий.

Постпространство игнорирует оба прежних пространства — и сакральное веселое, исступленное пространство премодерна, и мертвое, четкое, без белых пятен, киплинговское скептическое

пространство модерна. И то, и другое прекращают свое существование. Постпространство – это ни то, ни другое, нечто третье.

В этом пространстве не действуют ни законы пространства премодерна, то есть законы путешествия по звездам и под землей -- , осмысленного путешествия вместе с сонмами других существ – веселых и пугающих компаньонов -- ни четкая жесткая холодная рациональная логика географии современного мира. Это постпространство совершенно специфическое, именно в нем и происходит пролиферация черных чудес. Оно является не только условием возникновения этих черных чудес, но уже само по себе есть одно из этих черных чудес, а может быть, и самое главное, потому что именно наличие этого постпространства делает остальные черные чудеса возможными.

Пространство без расстояний

Дадим несколько определений постпространства. Чем оно отличается от предыдущих двух моделей? Оно не знает расстояний. Никаких – ни «пресовременных» веселых, спиралевидных, ни современных — конкретных, отмеренных, суровых и грустных. Там просто вообще нет расстояний. Путешествие из Нью-Йорка в Гонконг, как постпутешествие, совершается в псевдопространстве самолета, который представляет собой некий сетевой элемент. Это напоминает движение информации по интернет-кабелю, где аэропорт — это терминал или сервер. Пространство превращено в некую виртуальную схему.

Человек, который живет в современном Нью-Йорке, может, в принципе, не знать, что у него находится за правым углом дома, он может никогда не посещать самых близких к нему территорий садика или внутреннего двора. Для него там могут располагаться совершенно

неожиданные существа, он может бояться кого-нибудь в углу своей собственной квартиры, но, тем не менее, спокойно путешествовать по миру и чувствовать себя в Гонконге, Тель-Авиве или в Москве совершенно как дома.

Это пространство, по большому счету, есть пространство без расстояний или с такими причудливыми расстояниями, где посещение собственной кухни может таить в себе настоящее приключение, возможно, кошмар. На этом основано множество сценариев фильмов ужасов, когда человека пугает не неизвестное, не путешествие куда-то в экзотические места, а то, что начинает твориться у него дома. У Стивена Кинга очень много таких сюжетов: боязнь унитазов, раковин, труб, батарей, с которыми связаны всё более и более страшные видения и подозрения и одновременно свободное передвижение по всему миру — Рио-де-Жанейро, самолеты, терминалы, бизнес-чемоданчик, а приходит человек к себе, и его обуревают дикий ужас перед неизведанным, которое творится за кафелем...

Человек Традиции, конечно, знал свой дом отлично, знал своих овец, ни в коем случае свою бы свинью с чужой не спутал, травки все знал до одной, даже птичек или комаров распознавал как-то правильно: это наши летят, это чужие — что-то не то, будет заморозь, не взойдет репа. Супержизнь... А тут человек даже не знает, что у него в кармане лежит. Погрузит руку туда — и в ужасе отдернет: как *это* здесь оказалось!

В сетевом пространстве ясно различимы терминалы, а то, что *между* этими терминалами находится, этого как бы и нет, и неожиданность начинается рядом... Человек прекрасно может разбираться в экономике самой далекой страны, знать сенегальский язык и при этом быть запуганным в трех стенах, бегать от соседей и заблудиться на лестничной клетке.

Нелокальное пространство и «трип»

Постпространство не знает локальности. Локальность — это свойство пространства модерна. Постпространство, не знающее локальности, отчасти напоминает предпространство, то есть премодернистическое, холистское пространство. Здесь так же, как и в пространстве Традиции, одни элементы пространства не связаны жестко структурно с близкими, но вполне могут быть связаны с дальними. Это пространство подозрения, основанное на почти шизофреническом угадывании связи никак несвязанных между собой частиц.

Пространство Традиции нелокально, и в нем всё между собой связано, но *связано по логике фундаментального мифа*, чьей частью оно является и в котором оно постоянно реактуализуется. В постмодерне же всё *бессвязно связано* между собой по логике расстроенного сознания. Это шизофреническая конспирология, описанная в наркотической прозе Берроуза, например, в «Голом завтраке». Наркоман осознает себя тайным агентом, вовлеченным в сложный и двусмысленный мир, полный неслучайных совпадений, непонятных рисков и опасностей. В этом мире, выйдя со станции метро в своем городе можно очутиться на базаре Туниса и осознать, что ты находишься там с важной секретной миссией по разоблачению заговора между Федеральным Правительством и инопланетянами. Наркотический «трип», дословно «путешествие» актуализирует постпространство — неподвижность или перемещения тела в пространстве идут параллельно странствиям сознания наркомана, иногда встречаясь, а потом снова расходясь. При этом наркомана не покидает ощущение, что «что-то здесь не так»...

В Традиции тоже многие вещи начинаются с подозрения, что «что-то здесь не так», но в конечном итоге сценарий традиционного познания пространства обязательно приводит человека к фундаментальному обнаружению того, что же это всё-таки было и для чего это всё было (телос, о котором мы говорили). А вот пространство подозрения постмодерна, основанное на интуитивной, но болезненной шизофренической взаимосвязи разрозненных элементов и разрозненных случайных всплесков этого пространства, никуда и ни к чему не ведет, оно длится и длится, только тяготит всё большим и

большим количеством узлов на шее. Так как это пространство не упорядочено мифом.

Интернавтика

Характерным примером путешествия по постпространству является интернавтика. Это хождение, плавание по интернету, когда люди тыкают на случайные ссылки, беспорядочно мечутся между курсом валют, погодой, порносайтом или трэш-сенсацией, и все эти вещи, не связанные между собой никак, связываются, тем не менее, хаотической экзистенцией пользователя или произволом поисковой машины. Они связаны случайно, они связаны бессмысленно, их связь ни очень не сообщает и ни о чем не свидетельствует. Человек, вставая от компьютера после такого сеанса, не становится богаче интеллектуально, он даже не может пересказать, что он делал: с одной стороны, даже стыдно сказать что́, с другой — даже и захочешь — не скажешь...

Все эти элементы интернавтики находятся «рядом», они абсолютно нелокальны, сам процесс перемещения внимания от одного баннера к другому, от одной ссылки к другой создает ощущение, что эти вещи находятся рядом. Это действительно составляет некую новую шизофреническую структуру пространства, где между порносайтом, новостью, что у Майкла Джексона отвалился нос и политическими новостями выборов президента есть какая-то абсолютно ясная связь... Какая? Человек, который тычет в кнопки, перемещаясь туда-сюда по интернету, об этом не задумывается, он этого не может понять. Но такая связь явно существует. И если он изо дня в день посещает те или иные топосы интернавтики, то у него возникает устойчивая сопряженность, которая потом начинает обыгрываться в телероликах: например, в предвыборных кампаниях различных политических деятелей... Постепенно такие образы сливаются, и возникает новая

топография, а люди постепенно начинают ориентироваться в этом сложном и бессмысленном сочетании нелокальности, основанной на случайных извивах дури, приобретающей характер тоталитарной моды. В блогах, например, в Live Journal, это превращается в систематизированный нормативный образец.

Топосы-ловушки

Следующее качество: пространство постмодерна не знает границ. Это пространство One World, Единого Мира. Это пространство не территориально, оно сетевое, и это, пожалуй, самое главное.

Сетевой принцип заключается в том, что *объекты хаотического внимания расположены в постпространстве повсюду и в то же время нигде...* Более того, именно то, что притягивает наше внимание, как раз и обладает отведенным ему пространством. *Внимание становится проекцией от пространства* и наоборот: нас привлекает в пространстве только то, что каким-то образом воздействует на наше внимание. Соответственно, мы не познаём структуры пространства, но играем в бесконечную игру атомизированных топосов, которые мы выделяем, схватываем, бросаем, потом опять возникают новые, и мы снова берем их и снова бросаем... Но топосы этого постпространства, в свою очередь, начинают играть с нами, периодически превращая (искусственно или естественно) любое созерцаемое нами явление в *ловушку* нашего внимания, в своего рода вампирическую дыру, которая хочет ухватить от нас хотя бы немножко: «остановись взглядом!», «посмотри на это!», «а такое ты видел?!», «понял? не понял — дальше смотри!».

Реклама как абсолют утопии

Расположены топосы внимания таким образом, что *они никуда не ведут*, но наше внимание постоянно захвачено, это ведется великая работа рекламы. Только очень архаичные (непостмодернистские) люди покупают «тот самый порошок», который «мы идем к тебе», Tide. Нормальный человек постмодерна «Tide» не покупает, потому что он стирает все, что нужно, уже фактом его созерцания. Он давно уже всё понял, и с «Тайдом» у него другие отношения, *пост-отношения*. Он начинает догадываться, что, может быть, такого порошка вообще не существует, его нигде не продают, но сам факт, что этот человек постоянно ходит из экрана в экран, из одной квартиры в другую, агрессивно навязывая нечто, является базовым сетевым импульсом постпространства, одним из тех, к каким сводится сегодня вся жизнь. Люди смотрят, куда он идет, кто еще ему откроет, будут ли на следующей домохозяйке бигуди... Лохматая энергия, прущая на пролом, заряжает как от сети. Это превращается в энергетический рекламный quest, и все забывают о стирке, обо всём на свете, ходят невымытые, грязные, Tide со своими жрецами испускают острые лучи, от которых никуда не скрыться -- наше внимание схвачено, покорено. Ненадолго – на мгновение... Но в постмодерне все на мгновение, включая нас самих. Человек постмодерна – мгновенен.

На определенном этапе внедрения постмодерна теряется сама экономическая подоплека пролиферации образов постпространства. Реклама начинает рекламировать рекламу: «Смотрите на этой неделе» — огромный плакат, ты на него смотришь, потом думаешь: «Что надо смотреть?» И в конечном итоге видишь: «Смотрите на этой неделе — на этом месте будет объявление о том, что надо будет смотреть на следующей неделе»... Таким образом, возникают не просто топосы, а картинки, которые ничего не изображают, рожи, которые ничего нам не говорят об их обладателях.

Пространство постмодерна — это «утопия», в этимологическом смысле. Утопия — это то, чего нет, у чего нет места (u-topos: u — нет, topos — «место» по-гречески). Это *no place*.

Премодерн: экстатический хорос

Следует внимательнее рассмотреть два термина: топос и хорос. Хорос — это греческое слово, которое означает «место», «пространство», но имеет также значение «передвижение» и «интервал», то есть это *место с включенными в него погрешностями, дистинкциями, структурами* и т.д. Здесь много очень разных оттенков. Это и объединение разных предметов в одном пространстве и в то же время насыщенность, нагруженность, полнота. Хорос -- это *непустое пространство*. Это местность вместе с домами, курами, деревьями, колодцами, баранами, это всё вместе и одновременно вместе с тем, что *между* птицей, колодцем, ведром, метлой, свиньей. Интервал обязательно включен в понятие хороса.

Премодерн оперирует именно с хоросом, это и есть сакральное пространство. И тогда даже маленькая страна, даже маленькая деревня становится империей, а империя становится огромной раскинувшейся по континентам деревней. *Большое и маленькое отменяются за счет качественной насыщенности хороса*, потому что если мы приглядимся, то в каждой точке этого хороса мы можем найти огромное количество информации, так же, как путешествуя по бескрайним просторам империи.

Экстатический хорос — это пространство премодерна.

Модерн: скептический топос

Хорос сменяется в парадигме модерна представлением о топосе, о месте. Топос — тоже греческое слово, но оно означает «место просто так», место, не обязательно наполненное чем-то. Это место, которое может что-то содержать, а может и ничего не содержать. На концепции топоса как раз и были выстроены современные модели представления о пространстве.

Под хоросом можно понимать то, что называлось «естественными местами» Аристотеля, против чего Галилео Галилей и прочие творцы парадигмы современного мира фундаментально боролись. Хорос — это место с его содержимым, качественное пространство, в котором всегда заведомо уже что-то есть — например, то что только еще будет(но в возможности). С точки зрения нашего понимания Традиции, что есть в этом качественном пространстве? В нем есть *радость*. Это пространство, набитое радостью, которая его разрывает, это экстатическая эксплозия внутреннего достоинства и счастья, которое содержится в каждой маленькой точке. Даже самый маленький элемент сакрального мира — это всегда сакральный хорос, испуленный хорос. От хороса произошло слово «хор» -- и как место, где поют и как сами певцы. А на самом деле, *поет место*.

Ему на смену в парадигме модерна приходит топос. Топос — это опустошенный хорос, хорос, из которого изгнали пение. В пространствах топоса мы уже видим только отдельно взятые выделенные элементы, оторванные друг от друга, но все еще обладающие определенной иерархической структурностью, хотя и не привязанной жестко к месту. Из внимания топоса выпадают интервалы.

Например, есть топос фабрики. Фабрика — это топос и, другой топос, например, парк рядом с рабочим кварталом, куда рабочие по воскресеньям или в маленьком промежутке между сном и трудом выходят выпить и погулять. Оба топоса имеют разные структуры. Один — сухой и трезвый для работы, другой — для невеселой праздности. Станки фабрики и скамейки и аллеи парка строго разграничены и упорядочены. Сакральность может пробиться туда,

только если рабочий выпьет как следует (на фабрике или в выходные), и у него перед глазами все поплывет. Тогда он услышит музыку объектов, но скорее всего, это будет более всего напоминать адскую какофонию, Штокхаузена или индастриэл, а не музыку сфер.

Экстатический топос

Постепенно иерархия строгих, расчерченных и безжизненных топосов модерна растворяется и размывается, и возникает особое явление: не экстатический хорос (с ним уже покончено) и не раз-очарованный скептический топос, с ним тоже покончено, возникает некий гибрид — *экстатический топос*. Вот этот экстатический топос и представляет основу структуры пространства постмодерна или постпространства.

Постпространство состоит из неупорядоченного конгломерата экстатических топосов. Это место эфемерной экстастики, не постоянной, но преходящей. Вот, например, объявление в метро: хочешь влюбиться — позвони 555-66-77... Это объявление принадлежит к экстатическому топосу. У человека постмодерна нет сил влюбиться, он сам по себе не влюбляется, у него уже ничего не осталось в душе, он уже полностью исчерпан модерном, у него нет эмоций, нет естественного. Казалось бы, что естественнее влюбленности, но нет, не тут-то было. Скептический топос модерна, включая психоанализ и пролиферацию порнографии, расколдовали и эрос. И вот механики и операторы постмодерна приглашают искусственно воссоздать утраченное, провоцируют протезирование самых элементарных (но ставших недоступными) движений души — приглашают позвонить и влюбиться.

Это откровенная симуляция естественного влечения, которое полностью иссякает в унисексе постмодерна. Желание, которое в модерне еще оставалось (как самая главная угроза капитализму,

согласно постструктуралистам), в постмодерне уже расчленено на отдельные экстатические топосы -- такие, как курорт, массаж, метро, сексолог, собачка, подружка, Макдональдс. Эти отдельные элементы, каждый из которых не связан ни с чем другим, квантуют, разделяют на порции качества человеческое желание, не столько провоцируя его, сколько подменяя. Фактически в этом объявлении о том, что хочешь влюбиться — позвони 555-66-77 — содержится не просто предложение каких-то сомнительных эротических услуг. Это предложение-желание: пойдти туда — *там* ты захочешь, пойдти туда — *там* у тебя что-то зашевелится, позвони *туда* — там из тебя, холодной собаки, хоть что-нибудь, да выбьют. Это и есть действие экстатического топоса. Это не просто место развлечения или реализации желаний, *у человека постмодерна нет желаний*. Это не просто фрагмент протяженности (*étendue*) предназначенный для «культурного отдыха». Экстатический топос — это амбивалентная субъект-объектная реальность, которая содержит призрака желания в самом себе. Не мы идем туда, он идет в нас, и «помогает нам влюбиться». Пребывая в этом топосе — мы «влюбляемся», но он мгновенно растворяется, и мы остываем — до встречи со следующим топосом — следующим объявлением — «купи себе бутерброд, ведь ты его хочешь!». Новый топос помогает нам почувствовать голод. Это топос, где одновременно живет и голод и его удовлетворение.

Смысл экстатического топоса — например, в форме коммуникации с помощью мобильного телефона, -- заключается *в самом факте коммуникации*. Кто кому звонит, если на обоих концах трубки хрюкают и хихикают, вообще не понятно и не имеет значения. Какая разница — ты позвонил или тебе позвонили, попал ты туда или не туда. Кстати, часто люди, ошибаясь номером, продолжают говорить, как ни в чем не бывало, поскольку субъектные реальности, индивидуальности уже стерты в постмодерне. Поэтому уже не важно куда позвонил. Куда позвонил — туда и позвонил.

Отступление: Новый Университет как хорос

У меня создается впечатление, что самые лучшие наши сторонники пришли к нам как раз по ошибке. Они то ли предлагали духи или чай, толи принесли посылку, но ошиблись дверью, толи просто мимо проходили и заинтересовались, но все попали в Новый Университет, да так в нем и остались. Петр Первый в Московский Университет вместе с первыми профессорами из Германии завозил оттуда же и студентов – иначе некому было бы слушать. Новый Университет, со своей стороны, распространяет и институционализирует и знание, и его реципиентов – выполняя в духе постмодерна роль своего рода экстатического топоса. Правда, у нас обучают веселой науке и часто после лекций, а то и во время них самих поют, играют, пляшут и радуются... Так что это ближе к хоросу... Тем более что в некоторых случаях несколько преподавателей читают лекцию одновременно перед одной и той же аудиторией – как мы вместе с Головиным, Джемалем и Мамлеевым на одном из занятий. Чистый хорос...

Черное чудо «Макдональдса»

Маршруты постмодерна состоят из экстатически привлекательных элементов. Как Бодрийяр говорил, сегодня не люди фотографируют объекты, а объекты заставляют людей их фотографировать. Это и есть свойство экстатического топоса. Это элемент окружающего нас пространства, который вызывает в нас внезапное движение чего-то, что у нас еще осталось. Храмом экстатического топоса является «Макдональдс». Это постпарадигма экстатического топоса. «Макдональдс», обратите внимание, он именно радуется, причем на очень короткий срок. Он радуется, забавляет, развлекает и не пойми чем — еда там безвкусная, содержания никакого в «Макдональдсе» нету, витаминов тоже, но, тем не менее, это и есть *постмодернистическая утопия*, то есть место, которого нет. И не случайно в нем сидит клоун,

показывая, что это место ироничное, это насмешка над идеей ресторана, еды, пищи, это псевдосакрализация еды, туда люди приходят, действительно, не пойми зачем, и так возникает некое чудо... «Макдональдс» — это тоже пример черных чудес, потому что ни причинной, ни целевой нагрузки он не несет.

Слом иерархий топоса

В постмодерне пространство полностью перемешано. Мы уже не можем разделить, где место для труда, а где место для отдыха, где офис, а где ресторан, где фабрика, а где курорт — иерархия разрушена. Всё проникнуто искрами эфемерной экстатичности, которая вспыхивает в обезжизненном пространстве и тут же исчезает. В офисе клерк пишет в блоги, хохочет и лазит по порносайтам, а с курорта часами говорит по мобильному с коллегами по работе, узнавая последние новости и переживая за результаты.

Это так называемая *сетевая экстатика* или триумф геймерского отношения к миру. По сути дела, человек и на работе и в ресторане и даже дома постоянно *играет*. Обратите внимание, наши подростки уже не просто подражают персонажам историй и эпосов. Такое впечатление, что они всё время даже в offline нажимают кнопки — Upload, Reload, щелкают на ссылки, двигают стрелками. И как быстро они -- в отличие от людей пожилых или в возрасте -- осваивают компьютер, уже где-то с пяти лет современный ребенок запросто проделывает с компьютером всё то, чему раньше обучались в институтах на пятом курсе... А они в пять лет без проблем... Компьютер сам по себе принадлежит к топосу постмодерна.

Экстатический топос и наркотики фрагментирования

Естественно, топос постмодерна ясней всего различается в наркотиках. Причем постмодерн имеет свои собственные наркотики. Если поздний модерн, особенно в период декаданса тяготел к морфию, который художественно, но вводил человека в некую реальность, пусть она и не до конца, как правило, могла быть изученной — на это не хватало здоровья, человек довольно быстро сходил на нет, но, тем не менее, какие-то обещания конца пути содержатся в самой структуре опиата. А вот в экстази уже ничего нет. Это, действительно, просто эфемерный квант бессмысленной и беспричинной эйфории. Или взять ЛСД. ЛСД — это целый миф. У ЛСД, безусловно, есть сценарий и законченная география своеобразного квазисакрального мира. Хиппи были, можно сказать, своего рода «заблудившимися традиционалистами». Но современные наркотики, такие, как экстази или метадол — это *наркотики фрагментирования*, которые вышибают человека из пространства, технического, скучного и заурядного *в пространство никакое*. Загрузиться экстази — это то же самое, что сходить в «Макдональдс» или посмотреть рекламу. Это никуда и ни к чему не зовет, не ведет, никак не меняет человеческую структуру. В этом и состоит экстатический топос новых наркотиков, наркотиков постмодерна. Принимая эти наркотики, человеку кажется, что он «встал на место», хотя на самом деле он как раз окончательно расстался с каким бы то ни было местом или с какой бы то ни было точкой пространства, даже с ностальгией по нему.

Человек стирается, а эфемерный топос наркотического сиюминутного тока живет *вместо него*, ни к чему его не привязывая, ни к чему не поощряя и не подталкивая.

Обещание Радикального Субъекта

Мы в нашем курсе о Радикальном Субъекте заходим издалека, и в этой лекции, как и в первой, я пока о Радикальном Субъекте говорить не буду. Но что можно анонсировать в преддверии следующих наших встреч?

Радикальный Субъект — это явление, которое мы должны исследовать в рамках постмодерна. Однако само это явление связано скорее не с постмодерном, а с его концом (с его Бесконечным Концом). Но говорить о Радикальном Субъекте, не изучив предварительно специфику постмодерна и его постонтологии, невозможно. Не поняв, не визуализировав постпространство черных чудес, мы точно никогда не поймем, что такое Радикальный Субъект, потому что нас обязательно собьет желание или инерция рассмотреть эту категорию в рамках какой-то одной из предшествующих парадигмальных, гносеологических, онтологических и философских конструкций.

Это единственное, что я пока могу сказать. Как в сериале: оставайтесь с нами, дальше вы узнаете все про Радикального Субъекта. Обещаю, я вам все расскажу, но не сейчас. Пока это введение, хотя и расширенное. Мы всё ближе и ближе подходим к теме, но сначала чрезвычайно важно осознать кондиции постмодерна, осознать радикальный парадигмальный сдвиг по отношению к предшествующим системам языка, восприятия, общения, философии.

Сегодня люди, в первую очередь, русские люди, которые меня больше всего интересуют, должны всё фундаментально пересмотреть. Нам не впервой, мы много раз уже всё пересматривали, у нас есть «традиции» пересмотра, но, тем не менее, это требует на сей раз, как мне кажется, особой дерзости, особой удали. Модерн, действительно, кончился. Это надо осознать. То, что нам чаще всего навязывают под «постмодернизмом» и «постмодерном» — это жалкий лепет. И поэтому мы сейчас должны понять, что такое настоящий постмодерн. Без этого мы не поймем ни то, что происходит вокруг, ни то, что происходит внутри нас самих. Постмодерн — это серьезно, и делать вид, что ничего не произошло — глупо. Исследуя постмодерн, мы будем все теснее постигать и Новую Метафизику, которая парадоксальным

образом может обнаружиться только в самых критических точках цикла. А ничего критичнее постмодерна представить себе невозможно.

Ответы на вопросы

Вопрос: Чем принципиально ваш анализ отличается от описанного Бодрийяром в «Терроре ничем не детерминированного кода»?

Дугин: Принципиально ничем не отличается. Бодрийяр описывает то же явление, о котором я говорю, может быть, немного с другой стороны. Бодрийяр — один из тех, кто действительно говорит дельные вещи относительно постмодерна, которые могут быть привлечены в качестве релевантного свидетельства.

Вопрос: Вы считаете, что заставить заплатить Абрамовича налог на недра — это черное чудо?

Дугин: Да... Правильно. Точно. Это невозможно, да.

Вопрос: Что делать с антиутопией постмодерна, с этим черным чудом? Не является ли это постпространство просто прелюдией к *Finis Mundi*, Концу Света?

Дугин: Конечно, является. Я не употреблял таких сравнений заведомо, чтоб остаться в рамках философского дискурса, но постмодерн — это и есть эпоха антихриста в самом развитом ее состоянии, это очевидно.

Вопрос: Что создает парадигмы или как они формируются?

Дугин: Это хороший вопрос. Действительно, парадигмы никем не создаются, это некая абсолютная вещь, которая распределяет роли и качественное содержание бытия, субъекта, пространства. То есть парадигмы — это нечто большее, чем, скажем, мышление, идеология, религия. Парадигмы существуют сами по себе, и о природе их можно строить любые гипотезы, поскольку они глубже, чем гипотезы.

В свое время, по моему, Делёз написал: большинство авторов мне интересно исследовать, потому что я захожу к ним сзади, их имею и потом излагаю, а вот с Ницше так не получается, потому что как бы я ни зашел, какую бы работу ни стал читать — он оказывается сзади. Вот парадигмы — это то, что оказывается всегда сзади. Всегда. Парадигму никто не создает, это она всех создает.

Вопрос: Как соотносятся между собой в вашем понимании предопределенность, замысел и промысел?

Дугин: Я бы не стал разделять эти вещи. В принципе, Промысел Божий относится скорее к цели. Для Промысла важно, чтобы что-то произошло, а не то, чтобы создать для этого причины, оно произойдет даже если причин не будет, поэтому Промысел часто действует чудесно, а рок, фатум, ананке, судьбу можно рассмотреть как и детерминизм, то есть причинную предопределенность, и как целеполагание — в зависимости от контекста.

Вопрос: Существом какой парадигмы вы являетесь, традиционной? Откуда такое глубокое погружение в проблемы постмодерна? Или вы смотрите со стороны, находясь над всеми парадигмами, или еще что-то?

Дугин: Еще что-то.

Вопрос: Связаны ли черные чудеса с какими-то глобальными изменениями в пространственно-временном континууме?

Дугин: А я как раз об этом и говорил. Конечно, связаны. Да, пространственно-временной континуум постмодерна, где происходят

черные чудеса, которые с нами случаются и будут случаться, поверьте, — это действительно иной пространственно-временной континуум, причем иной дважды: иной по отношению к экстатическому хоросу и к неэкстатическому модернистическому топосу.

Вопрос: Надо ли чинить дороги? Не всё ли равно, что одушевлять и осмыслять: телегу, дорогу или самолет?

Дугин: Какой-то поэтический вопрос... Я, честно говоря, не совсем понял... Одушевлять... Вы знаете, в рамках парадигмы премодерна нет неодушевленной телеги и неодушевленного самолета, просто нету, и вы не можете ничего «одушевлять», это же не искусственная акция, это как все и так без вас и меня есть. В парадигме премодерна телега живая, она дышит, плачет, ворчит, печка ездит, щука болтает. Не то, что бы это кто-то придумал, это так на самом деле. Потом, когда приходит Галилео Галилей, все замолкают, печки перестают ездить, щуки немеют, телега глохнет... А сейчас — чего уж и говорить...

Вопрос: Александр Гельевич, у меня есть идея некоего традиционалистского проекта, однако нет финансового и творческого потенциала.

Дугин: Это остроумно... Всё. Благодарю вас.

Сноски

(1) См А.Г.Дугин «Метафизика Благой Вести», «Конспирология», «Философия традиционализма», «Философия Политики» и т.д.

(2) Более подробный и развернутый ответ на этот принципиальный вопрос дан в книге А.Г.Дугин

«Постфилософия» и отчасти в последующих главах.

(3) Подробнее об этом см. А.Г.Дугин «основы геополитики» и он же «Русская вещь» раздел «Солнечные псы России»

Глава 3. ЕНОХ ОМРАЧЕННЫЙ

«Against the modern world»

Я хотел бы начать тему с вопроса, не имеющего отношения ни к Еноху Омраченному, ни к другому Еноху, о котором также в нашей сегодняшней лекции пойдет речь. В скором времени на русском языке будет опубликована книга Марка Седжвига «Against modern world». Сам автор недавно приезжал в Москву, подарил мне ее, а также рассказал о своих дальнейших планах. По прочтении этой книги, можно, пожалуй, сказать, что это лучшая книга о традиционализме, которую я когда-либо вообще читал.

Что же такое «Against modern world» и каков ее основной концепт? Это краткая история традиционализма в XX веке, где автор делает, на мой взгляд, весьма неожиданное *заключение*.

Начинает он с того, что движение традиционализма является одним из *наиболее влиятельных интеллектуальных явлений XX века*. Прямолинейные инициативы традиционалистов в XX веке были, как правило, неуспешными, и задачи, которые они перед собой ставили (Генон — по образованию традиционной элиты Запада; Эвола — по созданию и возрождению новой «средневековой Империи»; Шуон — по пронизыванию западного общества тайной сетью «мариамия» — псевдо-суфийских орденов алавитского направления, сдобренных индейскими плясками голышом, экологически украшенными самим Шуоном экзотическими обрядами; Нае Ионеску и Мирча Элиаде рассчитывали на приход к власти «Железной гвардии» Кодряну) были провалены. Политические программы *не удались*. А вот

интеллектуальные программы, — как пишет Марк Седжвиг, — удались практически все.

Он утверждает, что традиционалисты к концу XX века фундаментально аффектировали саму парадигму мышления и оказались наиболее влиятельными, затребованными, интересными, фасцинирующими и продуктивными авторами на всём интеллектуальном пейзаже. Новые левые, гуманисты, даже консерваторы первой половины XX века исчезли, их больше никто не читает. А книги Эволы стоят на всех интеллектуальных полках европейских магазинов и постепенно проникают в Америку, где начинается бум на Эволу. XX век перемолол интеллектуально всё, *кроме традиционалистов*, поскольку они были настолько ультрамаргиналами, странными и атипичными авторами и личностями, что, казалось, критиковать их или просто знать о них — совершенно излишне; стало быть, их просто никто не читал. И настал такой момент, *когда знали всё, кроме них.*

Современный интеллектуализм таков, что познанное тут же перестает быть интересным. Тут, кстати, стоит вспомнить Ницше, смеявшегося над фразой «Познай самого себя». Как только мы познаем что-то, нам это что-то надоедает, проницательно заметил Ницше и задался вопросом: неужели мы так себе надоели, что готовы «познать себя и отбросить в сторону»?

XX век познал всё, кроме традиционализма и, соответственно, традиционализм, сам собой и вопреки всему, оказался в какой-то момент в центре внимания. Это было единственное, что оставалось не познанным, не расшифрованным, не осмысленным, а поэтому его влияние на всем протяжении XX века росло, а к началу XXI века стало одним из главных в интеллектуальной жизни современного мира.

Причем Марк Седжвиг это доказывает, ссылаясь в том числе и на опыт России, приводя разные биографические подробности, связанные с нами. Мне кажется, это убедительно. Сам Седжвиг -- человек уравновешенный, беспристрастный, не ангажированный, живет в

Каире, по происхождению он англичанин, профессор, академический ученый.

Традиционализм vs Традиция

Второй аспект книги Марка Седжвиг «Against modern world», который меня особенно заинтересовал, связан с его утверждением, что традиционализм и Традиция — *различные вещи*. В начале своей книги он рассказывает, в какой среде и как формировался традиционализм.

Одной из первых в Европе приняла ислам некая Изабель Эберхардт (русская по происхождению – «Тимофеевская» по отцу). Она более того получила посвящение в суфизм течения Кадырийя и Рахманийя от алжирской женщины шейха Зейнаб бинт Мухаммед ибн Касым. Она переехала в Алжир из Швейцарии, где воспитывалась. Она страшно пила, курила гашиш, наряжалась в мужскую одежду и спала со всеми подряд. Причем не оставила этих привычек и после принятия ислама и посвящения в суфизм. Погибла она совсем молодой от наводнения в 27 лет, но перед смертью она уже потеряла все зубы, страдала малярией и, вероятно, сифилисом. Так начинался европейский суфизм и, соответственно, традиционализм. Седжвиг в своей книге, рассказывая о Изабель Эберхардт смущенно задается вопросом: как к такому женскому «суфию» относились традиционные алжирские мусульмане, поскольку ее жизненный стиль не только даже отдаленно не напоминал шариат, но шокировал даже свободолюбивую французскую колонию. Видимо, скромно пишет Седжвиг, другая женщина-суфий – Зейнаб бинт Мухаммед ибн Касым, дочь крупнейшего алжирского суфийского шейха, которая и посвятила Изабель в орден, знала многие тайны человеческого сердца и имела к нему ключи.

Почти в это же самое время интерес к суфизму был подхвачен не менее экстравагантным, нищим и сумасбродным шведским

художником анархистом, борцом за права животных и защитником феминизма Иваном (Иоганном Густавом) Агели, который увидел ибн Араби во сне, принял ислам в Каире, умудрился получить суфийскую инвестицию и стал, позже, почитателем самого Генона. Агели погиб в Испании, его сбilo поездом, когда он (видимо, пьяным) он шаркался по железной дороге. Оцените: основатель европейского ислама – сильно пьющий художник-постимпрессионист, часто изображавший обнаженную натуру (это в исламе, где не просто алкоголь и ню категорически запрещены, но сама живопись рассматривается как «харам» -- нечистое и неприемлемое явление). Сам факт, что такой, кстати, гениальный и очень обаятельный персонаж является вдохновителем современного европейского традиционализма, очень показателен.

Третий европеец суфий был и вовсе диким человеком – Рудольфом Глауэром, более известным как основатель легендарного «Общества Туле» барон фон Зебботендорф. Он был посвящен в турецкий суфийский орден бекташи. Профинансировав создание Национал-социалистической Рабочей партии Германии в Баварии, фон Зебботендорф, язычник, ариософ и расист, вновь вернулся в Турцию, где и утонул в день окончания Второй мировой войны в Босфорском проливе.

Далее Седжвиг говорит, что Генона арабского языка, видимо, толком не знал, а посвятили его в этой среде в промежутке между какими-то живописными постимпрессионистскими возлияниями или эротическими обнаженными танцами подружки Генона Валентины де Сэн-Пуан, балерины-футуристки, использовавшей в своих шокирующих тогдашнюю публику ню-перформансах «много ладана для создания сакральной атмосферы» (как писали тогда газеты). Однако Генона фундаментально оценил это инициатическое причастие, поскольку он серьезно изменился. В частности, Седжвиг говорит, что до этого Генона был человеком весьма специфическим, страдавшим мягкой формой паранойи. Всю жизнь он боялся, что на него нашьют порчу, и подозревал в этом даже католиков-томистов. На одном семинаре «Politica Hermetica» в Сорбонне я слушал доклад,

убедительно доказывавший, что Генон страдал «паранойей» и манией преследования в строй (клинической) форме.

Интересно, что заканчивал Генон последний день исламского поста Рамадан, обычно выпивая чашку кофе и выкуривая сигаретку. Иными словами, *традиционализм не есть Традиция*.

Дальше Седжвиг пишет, что Традиция (в лице классического ислама или католической церкви) традиционализм в принципе не принимала, весь исламский мир «в гробу видал» Генона с его экстравагантными гипотезами, индуизмом и «масонством». Католическая же церковь воспринимала традиционализм просто как оккультистские экстравагантные фокусы. Стало быть, традиционализм есть нечто совершенно *иное*, нежели Традиция. А в Индии или Китае об этих люди, несмотря на их индуистские и даосские «инициации» вообще никто не слышал. Если вспомнить о том, как менялся женами другой традиционалист Ананда Кумарасвами с Кроули (в магических целях и чтобы повесить на Кроули экономическое бремя содержания и продвижения в арт-кругах своей супруги и претенциозной артистки) картина становится совсем гротескной...

Если экстраполировать замечания Седжвига, с симпатией в целом относящегося к традиционализму, на нынешнюю ситуацию, можно сделать очень важный вывод. Но совсем не тот, который делает сам Генон в главе «Царства количества и знаков времени» - «Традиция и традиционализм», полагая, что традиционалисты – это только те, кто только намерены прийти к Традиции, но дойдут ли они, это не гарантировано. Я предлагаю посмотреть на вещи строго противоположным образом. *Традиционализм интереснее и важнее, чем Традиция*. Сейчас поясню, что имеется в виду.

Традиция, традиционализм и холод

Что такое Традиция в сегодняшнем мире? Что такое исламская традиция, католическая традиция, даже наша традиция? По сути дела, это некое стремительно остывающее явление. Это явление очень плохо понимает само себя. Католики абсолютно не понимают христианство, современные мусульмане не интересуются сущностью ислама, а интересуются другими вопросами, в частности, его пропагандой, его установлением, созданием политических проектов, связанных с ним.

И самое главное: *Традиция совершенно не понимает свою противоположность, то есть современный мир.* То, что пишут представители Традиции о современном мире, почти всегда представляет собой оскорбляющую вкус и интеллектуальное достоинство чепуху. Традиция, остывая, не понимает ни саму себя, ни тот холод, — современный мир, — который является причиной ее остывания. *Модерн — это холод.* И модерн гораздо более остроумен и когерентен, нежели Традиция. Он, несомненно, более адекватен.

Чем занимается модерн? Он занимается *осмеянием* того, что еще не остыло. Модерн представляет собой процесс ироничного изматывания Традиции, ее остужения. Он это делает упорно и последовательно, старается добить всё, что движется, но собственной повестки дня он, безусловно, не имеет. Модерн есть процесс отрицания Традиции, ее переворачивания⁽¹⁾.

Традиционализм в таких условиях не является Традицией, потому что он прекрасно *понимает, что такое Традиция*, причем намного лучше, чем сама Традиция, в тысячу раз лучше, и также прекрасно *понимает, что такое модерн*, который сам себя осознает с большим трудом и проблемами, а Традиция его не понимает вообще.

Модерну легко нападать на Традицию. Тут он силен. Он говорит: «Бог сотворил Адама, говорите вы. Как бы не так! А как же обезьяна?» Он доволен собой и всем (хотя в тайне его от самого себя тошнит), он смотрит телевизор. Но когда модерн начинает осмыслять самого себя, у него ничего не получается, у него всё падает из рук, и он говорит —

что-то не складывается, но может быть, так и надо, может, надо ограничиться какими-то минимальными рациональными циклами?..

В отличие и от Традиции и от модерна традиционализм замечательно, идеально (как показывает Генон) понимает *и то, и другое*. Традиционализм великолепно отдает себе отчет относительно *структуры* любой традиции, которая попадает в сферу его внимания. Им разработан для этого великолепный исторический, методологический, терминологический аппарат, своего рода «мета-язык», на котором довольно легко корректно описать в общих чертах самые различные виды традиционного общества. И при этом традиционализм великолепно понимает модерн, поскольку он — его продукт.

Традиционализм рождается из холода, осознанного как абсолютный холод. Традиционализм — это не остатки Традиции. Достаточно здесь хотя бы посмотреть на моральный облик и нравы основателей традиционалистского движения в Европе. Это были люди модерна, но модерн настолько «прогрессивного», что они распознали — в отличие от модернистов умеренных — его истинную скрытую сущность, тайну его холода. И распознав ее, они *по-настоящему* ужаснулись.

Традиционализм рождается из холода, из современности, из чашки кофе с сигаретой, из эпатажа, из нервного срыва, из выхваченного из жесткого сновидения эстетического мазка. Для него традиционалиста Восток — это экзотика, это салон, это шаровары, пыльный и грязный вельветовый пиджак и красный пояс с кинжалом (так ходил по Швеции Агели), белые хламиды, которые напялил на себя Шуон в Швейцарии, раскачиваясь в такт собственному напеванию, бормотанию. Это образы «загадочного Леванта», ожившие картинки из «Персидских Писем» Монтескье, экзотика путешествий. Но рождается традиционализм из чистого обнаженного холода современности, из «ничто» современного мира. И он совершенно не совпадает с Традицией.

Когда традиционалист соприкасается с Традицией, он чувствует, что здесь чуть теплее, нежели в том холоде, откуда он сам вышел. Но взывает традиционалист – иного: *настоящего жара*. И в Традиции он этого не находит, равно как и остывающая Традиция не познает себя в обезумевшем огненном традиционализме.

Несколько другое пламя

У Дома Пернети (иллюмината из Авиньона), одного из каталогизаторов по герметической традиции, в книге «Dictionnaire Mytho-Hermetique» описывается несколько способов получения так называемого «философского огня».

Первый способ — субстанцию, из которой надо получить философский огонь, бросают в раскаленную лаву, и тогда она загорается. Второй способ — эту субстанцию бросают в абсолютный холод, и тогда в *ней изнутри рождается пламя*. Дом Пернети уточняет: это несколько *другое* пламя.

Традиционализм и есть «несколько другое пламя», нежели тлеющая, рассыпающаяся, энтропирующая, остаточная пульсация современной Традиции.

Если мы сопоставим эти две фундаментальные вещи, мы придем к парадоксальному выводу о том, традиционализм каким-то образом связан с постмодерном. Это не настоящий премодерн Традиции, но это и не модерн, потому что со всех сторон он модерн отрицает, причем самым радикальным и абсолютным образом. это тотальный антимодерн. Ну и куда же мы можем отнести в таком случае традиционализм?

Традиционализм и постмодерн

Если мы внимательно продумаем эту картину, которую описывает Седжвиг, то увидим, что это напоминает именно постмодерн. И вот из этого очень тонкого замечания, благодаря такому – согласен, несколько неожиданному -- философскому анализу, можно сделать вывод, что мы с вами, коллеги, фундаментально победили. Как бы сказал Парвулеско — «безотзывно».

Отсюда вытекает напрямую проблематика *новой метафизики*, которой были отчасти посвящены мои предыдущие лекции, в частности, «Радикальный субъект и его дубль», моя маленькая заметка в «Литературной газете» «Новая программа философии» (публикуемая в Приложении к данным лекциям) и неопубликованная книга «Тамплиеры иного». Последнюю я и не собираюсь публиковать, хотя ее содержание лежит в основе той интеллектуальной деятельности, которой я занимаюсь всю свою жизнь.

Все это, однако, требует более тщательного и развернутого изложения ⁽²⁾.

Староверы как традиционалисты

Итак, это было маленькое предисловие к теме «Енох Омраченный».

Енох Омраченный. Насколько эта фраза сильна и самодостаточна! Где я обнаружил Еноха Омраченного? Я прочел о нем в одном из

цветников бегунского согласия — в анонимном сборнике истинно православных христиан, староверов-странников. Моя жгучая и повышающаяся в градусе любовь к старообрядцам имеет, действительно, фундаментальное обоснование, потому что старообрядцы, особенно беспоповцы, особенно крайние беспоповцы и есть настоящие русские традиционалисты. Позиция крайних старообрядцев и есть позиция традиционалистов, особенно нетовцев и бегунов.

Не по своей воле, но они оказались *по ту сторону Традиции*. «Для нас есть только Традиция, но сейчас Традиции нет, — говорят бегуны. — А в мир, без Традиции (читай, модерн) мы не пойдем *ни за что!*».

И тогда у них не остается ничего. Им негде жить, нечем дышать, нечего есть, некуда идти, но это их выбор. Они никогда не пойдут туда, где предоставляют ночлег, кормят и выдают документы. Они не идут к более конформистским «коллегам» по согласам, не говоря уже о никонианах. Традиции там они не видят. Традиции для них нет. Тепло для них — это холод. Горяча только Традиция в ее чистом и неискаженном, в ее пламенном виде. *А если не горячо — значит холодно*. Для них разница между никонианским компромиссом и чистым атеистическим дарвинизмом строго равна нулю. Они христиане-радикалы, христане-максималисты, они хотят всего.

Они понимают, что Традиция остывает. «Это не Традиция», — говорят они. Остывающая Традиция – не есть Традиция. Но и современный мир в его чистом издании они тоже, разумеется, не признают. Поэтому они и оказываются в «по рlасе», в «не месте». У бегунов нет места, они убежали, они бегут «от», они не бегут «к». У них нет места. Их Беловодье, которое они описывают, не существует, путь к нему обрывается где-то за Уралом, на Алтае. Они шепотом повествуют о локализации этого «по рlасе»: «к скрытнику Дормидонтычу зайдете, у него остановитесь, а от него начинается алмазное море, по которому подземными тропами рукой подать до Опоньского царства, а там и Беловодья».

No place как common place

Осознав «бегунов» и крайних старообрядцев как настоящих носителей радикального метафизического традиционализма, отвергающих энтропирующую Традицию как не-традицию, по сути, отождествляющую ее с модерном, и посмотрим на то, как сегодня «постмодерн» окончательно добивает и выдохшуюся Традицию (сегодня уже невозможно слушать ее примирительные нелепости) и одновременно, этот вчера еще триумфальный модерн, то обнаружится, что «no place» «бегунов» становится «common place» — общим местом. И если мы правильно осознаём тот банальный дискурс, который мы видим сегодня вокруг нас, правильно подберем к нему ключ, то увидим, что в постмодерне произошло поразительное наложение друг на друга двух полярных явлений — радикального традиционализма и предельного модернизма. Одновременно исчезает по своей внутренней логике и «теплый» компромисс и причина его охлаждения. Ультрарадикальный огонь веры лицом к лицу сталкивается с космическим льдом скепсиса. Постмодерн есть место встречи. Можно отчасти сказать вот мы и достигли поставленных нами задач.

«О нынешнем горьком времени»

Традиционализм крайних старообрядцев заключается в их сосредоточенности на осмыслении того кошмара, который царит вокруг них. Этим кошмаром пронизано для них всё. И когда в какой-то полемике крайнего бегуна-безденежника спросили, что он всё «про антихриста да про антихриста», есть же и другие темы, тогда он

растерялся и сказал: «А у нас вообще-то вся вера в антихристе состоит».

Это непростые слова, и не стоит их воспринимать банально. Бегуны не в антихриста верят, они верят в Бога, но их вера однозначно показывает им, что антихрист – это не метафора и не нечто в будущем, это -- *здесь и сейчас*. Они дают окружающему бытию совершенно однозначный диагноз, и без этого диагноза их духовность, их существование, дыхание и бытие лишено всякого смысла. Если окружающий мир — не мир антихриста, то тогда их нет, и мира этого нет. Они распознают модерн так же, как распознавал его Ницше, то есть как царство европейского нигилизма. «Бог умирает и церковь на́ небо уходит», — как говорят нетовцы. И ничего больше не остается кроме антихриста.

Характерное название одного из текстов об антихристе из бегунского Цветника: «Книга, глаголющая об Антихристе и о нынешнем горком времени». Только нынешнее, «горкое время» по-настоящему интересует бегунов. И только в нынешнем, «горком времени» они-то и знают толк и понимают его *суть* лучше кого бы то ни было. Лучше самих модернистов.

Коф лукавый

А что представляет собой суть нынешних «горких времен»? Бегуны раскрывают ее в простых, бытовых ситуациях.

Обратите внимание, с какой позиции написана следующая фраза: «Любя пение партеносное, никонияне упразднились от Христа. Зело Богу гнусно нынешнее пение». Это о церковном пении. Это не объяснение, не критика, не собственное мнение, это фундаментальная

метафизическая апокалипсическая констатация – «пение зело гнусно Богу»! И всё тут.

А вот еще из «Цветника» выписка из книги некоего Назария. В главе 20-й, на листе 5-м он пишет: «Аще кто от православных христиан дерзнет пити чаю, тот отчаится сим самого Бога. Да будет троекратно анафема. Аще кто от православных христиан дерзнет пити кофию, в том человеке будет *коф лукавый*. И не будет благодати Божией и отпадет. Десятикратно анафема». По живому режет малоизвестный Назарий. Вот оно, правильное понимание того, что творится в мире. О книге Назария и о нем самом нам больше ничего не известно. Возможно, целиком (а не в отрывках) это была чрезвычайно важная книга. Может быть, самая важная.

«Важная книга» и «свиная милицейская мудрость»

А вот еще одна важная книга, написанная часовенным наставником Афанасием Герасимовичем Мурычевым, тем самым, который упоминал в другом месте про «рыбца духовного»⁽³⁾, споря с духовно понимающими (Ананием Клеоновичем Килиным⁽⁴⁾). Об этом Гарик Осипов делал в свое время одну из своих программ «Трансильвания беспокоит» на «Радио-101».

Мурычев описывает, как энкаведешник Сафронов, разрушавший дупческие скиты в 1949 году, обнаружил у отца Симеона много таких важных книг. Среди них была книга «Небеса». По-моему эта и была та самая важная книга, которой нам сегодня так не хватает.

Цитирую: «Сафронов ужаснулся, увидев, что у отца Симеона была такая громада книг. Сафронов говорил: “Наверное, ни в одной библиотеке нет столько книг”». (Как будто мы Платонова читаем, а не воспоминания старообрядческого начетчика).

«Книга “Небеса” что-то на него подействовала, что он ее отдельно жег в костре на оgrade и палкой листы швырял, чтоб сильней горели. Одна была замечательная рукопись, — продолжает Мурычев. — Тот писатель подсчитал год рождения и воцарения Александра Освободителя. Сложил числа славянских букв и получилось “Ангел кротости”. И как было высчитано им, я теперь не припомню. И было еще много чего интересного в той книге. Но *свиная милицейская мудрость* (курсив мой – А.Д.) ничем этим не дорожила. Всё это огню предала». Вот какова была судьба книги «Небеса». Самой главной, наверное, книги.

Смотрите, *что* происходит в этом эпизоде, когда носитель «свиной милицейской мудрости» Сафронов палкой переворачивает листы. *Последний вздох Традиции сталкивается с модерном* на глазах у Мурычева, который становится свидетелем чего-то небывалого. Этот текст — постмодернистский. На мой взгляд, это — классика постмодернизма.

А вот еще одна история Мурычева по поводу того, какие еще книжки нашли энкаведешники. «Попала им на глаза книжица блаженного Иеронима “Толкование на пророка Иезекииля”. Стали перелистывать и наткнулись на 38 главу, в которой писано о гоге и магоге. Они и говорят Димитиану, наставнику: “А ты знаешь, кто это — гог и магог?” Он побоялся правду сказать. Говорит: “Нет, не знаю”. Они говорят ему: “*Это есть мы — гог и магог*” (курсив мой – А.Д.). Также и его забрали с собой».

Сознательные коммунисты попались, не правда ли?

Третья книга Ездры

В том же «Цветнике», где говорилось о «про кофа лукавого», в главе, которая называлась «О Енохе и Левиафане», я наткнулся на толкование Третьей книги Ездры. Эта книга в нашей славянской традиции считается третьей, в латинской — второй. В ветхозаветный канон Септуагинты и Вульгаты она не входит из-за пассажей, сочтенных странными. Эта книга является желательной для прочтения.

Она была в Острожской Библии, то есть рассматривалась как каноническая для всей древней Московской Руси.

Итак, вот как один из моментов Третьей книги Ездры был истолкован анонимным бегуном. Это толкование проливает неожиданный свет на наши евразийские, геополитические интуиции, то есть связывает наше дневное, рациональное мировоззрение с парадигмальными глубинами веры, с незримо зажигающимися и падающими небесами, да так, что, действительно, берет оторопь.

Этот пассаж из Ездры звучит на старославянском так: «В пятый же день [творения] рече Господь седьмой части, идеже бяша вода собрана: да произведет животная». (То есть «пусть из этой воды произойдут животные, живые души». «Живые души» — это необязательно звери. Но и необязательно — не звери.)

«Вода нема и бездушна, я же Божиим повиновением повелевахуся животная творяши». (То есть вода выполнила то, что от нее требовалось.)

«Да от сего дивная твоя родови возвещают». (То есть от этого пошли странные существа — «родови».)

«И тогда сохранил еси [Бог] две души. Имя единой назвал Енох, имя второй назвал еси Левиафан. И разлучил еси единого от другаго. Не бо можаша седьмая часть, где бысть вода собрана, снести их». (То есть в воде им двоим, Еноху и Левиафану, места не было.)

«И дал еси Еноху едину часть, иже осушена есть, третий день да обитает на ней». (То есть Бог дал Еноху сушу, а Левиафана оставил

там, где произвел воды.)

«Где суть гор тысяща. А Левиафану дал еси седьмую часть мокра и держал его еси да будет в пожрение их же хочещи и когда хочещи». (В синодальном переводе это трактуется так, что Левиафана Бог оставил там, где он был, чтобы в какой-то момент его съесть.)

«Их же хочещи и когда хочещи». (В старославянском переводе предполагает, что неизвестно, кто будет им когда-то питаться. Это очень сложная конструкция. Есть несколько переводов. Левиафана был оставлен для чьего-то пропитания на какое-то особое время.)

Змей, который создан «ругатися ему»

Во всем этом фрагменте поражает текстуальная аналогия *между Енохом и Бегемотом*, другим фундаментальным персонажем Ветхого Завета.

Мы знаем, что в тех местах Библии, где упоминается Левиафан, морской змей, — например, в Псалтыри, — он часто просто называется змеем. Это тот самый «*змий иже созда ругатися ему*» (Пс. 103, 26). Обычно в паре с ним выступает фигура Бегемота.

Вот, в частности, фрагмент из книги Иова в синодальном переводе, где оба наших персонажа упомянуты в паре. «И отвечал Господь Иову из бури и сказал: вот бегемот, которого я создал, как и тебя». И дальше идет описание бегемота.

«Он ест траву, как вол. Сила его в чреслах его, и крепость его в мускулах чрева его. Поворачивает хвостом своим, как кедром, жилы же на бедрах его переплетены. Ноги у него, как медные трубы, а кости у него, как железные прутья». (Иов. 40:1, 10-19)

И дальше вдруг неожиданно говорится: «Это верх путей Божиих. Только сотворивший его может приблизить к нему меч свой».

В Острожской Библии фраза «это верх путей Божиих» звучит так: «еже есть начаток здания Господня» ⁽⁵⁾.

И дальше тоже любопытно: не Бог может к нему приблизить меч, а «створен поруган быти ангелы его».

Очень интересно, что «ругательство», «поругание» по-старославянски означают одновременно «игру», «забаву» и «побивание». Это своего рода «кошачий» глагол. Этот глагол, таким образом, имеет значение не просто «нападать», но еще и «забавляться».

«Змий иже созда ругатися ему».

Я в свое время думал, что эта фраза из Псалтыря подразумевает «ругать за то, что он плохой», поскольку в змея воплотился Сатана, чтобы было на кого всё свалить. Но на самом деле, здесь подразумевается более тонкий смысл: *змея был создан, чтобы им забавляться*. То есть не только для того, чтобы его били время от времени, но и чтобы он вызывал такое специфическое чувство опасной «игры».

Два Еноха

Итак, на тождестве Еноха-Бегемота с библейским Енохом, седьмым сыном Адама, и строится предполагаемое этим бегунским «Цветником» толкование фундаментальной логики истории мира. Что пишет по этому поводу бегунский «Цветник»? Он внезапно начинает рассказывать историю о двух Енохах!

Енох первый — до Адама. Енох второй — после Адама. Енох первый — это Бегемот, а Енох второй — это сын Адама.

Енох первый — «от седьмая части», Енох второй — седьмой сын после Адама. И здесь седьмой — и там седьмой.

«И преложи его Бог и не обретошеся» — говорится в Библии об окончании дней Еноха, седьмого после Адама.

«И ходил он, и не стало его, и не нашли его».

«Видеши ли, — продолжает наш автор, — Енох есть угодник Божий, из неверия в веру преложен. И не обретошася в земных. А в небесех такоже сопротивнее есть и иное». То есть: а вот в небесах есть другая история.

«Аще с небес спадет звезда, — какая здесь логика? почему спадет звезда? — и померкнет, и преложится из веры в неверие. И из благочестия в нечестие. И сий есть Енох, ибо Енох есть преложение. Аще из тьмы в свет преложится, сей есть Енох освещен. Аще ли из света во тму преложится — сей есть Енох омрачен. И паки Енох есть имя едино, а действия — два. И силы две и два нрава, и два обычая, и два духа. Яко Енох по-еврейски речению и словенски толкуется “освещен”». (Кстати, последнее толкование находится в прямом противоречии с тем, что Енох означает «преложение». Этимология имени «Енох» достоверно не установлена, обычно ее возводят к ивритскому корню», означающему» «наставлять», «учить», «просвещать».)

Вот этот текст и навел меня на то, чтобы назвать нашу лекцию «Енох омрачен».

Самым потрясающим, на мой взгляд, здесь представляется соотнесение с Енохом метафизической, символической фигуры Бегемота, сухопутного животного, обозначающего в Библии фундаментальную константу мифологической истории. Благодаря

такой трактовке возникает мысль о двойственности Еноха, но одновременно и о двойственности Бегемота.

Бегемот, с одной стороны, существо довольно мрачное, похожее на Левиафана. Но с другой стороны, он назван «начатком путей Господних», то есть существом, которое лежит у основания чего-либо, в начале. Это очевидно, если учесть тождество Бегемота с Енохом. Тогда получается, что в данном случае речь идет об их символическом взаимоотношении.

Идея двойственности Еноха дошла до этого довольно позднего бегунского комментатора, может быть, благодаря «Толковой Палее», а может быть, через какие-то неизвестные предания, озарения древнерусской духовной традиции.

И всё-таки откуда берутся такие, проводимые автором, ослепительные отождествления? Наверняка ведь существовало предание, повествовавшая о глубинном смысле этих вещей, о двойственности Еноха, о том, что есть «Енох омрачен» и есть «Енох освещен».

Видимо, темная сторона Бегемота и определяет наличие этой темной стороны и у Еноха.

Книга Еноха и вопрос о преадамитах

Енох, — чье тождество с Бегемотом мы обнаруживаем в апокалипсисе Ездры, — написал, по преданию, до сих пор считающемуся каноническим в эфиопской церкви, книгу, где повествуется о его путешествиях и видениях. Эта книга дошла до нас в нескольких вариантах. На еврейском ее нет, но она есть на славянском.

В «Книге Еноха» описывается следующая ситуация.

«9. В тот день (день гнева Господня – А.Д.) будут распределены «два чудовища: женское чудовище, называемое Левияфа, чтобы оно жило в бездне моря над источниками вод, мужское же называется Бегемотом, который своею грудью занимает необитаемую пустыню, называемую Дендаин («страна Найд» – «ба эрец нод»), находящуюся на востоке сада, где живут избранные и праведные и куда взят мой дед, седьмой от Адама первого человека, которого сотворил Господь духов.

10. И я молил того другого ангела, чтобы он показал мне власть тех чудовищ, как они разделены в один день, и одно было поставлено в глубину моря, а другое на твердую почву пустыни.

22. И ангел мира, который был со мною, сказал мн: " эти два чудовища приготовлены сообразно с величиим Божиим для того, чтобы быть накормленными, дабы осуждение Божие не было тщетным; и будут умерщвлены сыны со своими матерями и дети со своими отцами.»

Здесь возникает подозрение: а не представляют ли собой Енох-Бегемот и Левиафан, — сотворенные как живые души за день до творения Адама и остальных животных, сотворенных в шестой день, — своего рода мифологическое иносказание о двух древних расах, именующихся в некоторых традициях, в частности, в исламе, *преадамитами*. Для нас, православных людей, такая гипотеза невозможна, но с точки зрения экзегетики традиционализма, отвлеченного от религиозных догматов, это вполне можно допустить.

Из данного фрагмента книги Еноха следует, «Левиафан и Бегемот будут кормиться кем-то». В другом месте про Левиафана говорится, что, напротив, им накормятся, насытятся сыны эфиопские. То есть *Левиафаном кормят*. А здесь сказано, что будут «умерщвлены сыны с матерями». Нельзя исключить, что речь здесь идет о двух расах: *енохианской* расе — сухопутной специфической прото-расе, связанной с символикой Бегемота, и морской, *левиафанической* расе, преатлантической, протоатлантистской (возможно, описанной Лавкрафтом в цикле о Ктулху).

Бегемот и Империя

Описание Бегемота в книге Иова дает представление о том, что у него ноги, как медные трубы. Это описание заставляет вспомнить монстров и колоссов из видения Даниила, которые традиционно трактуются экзегетикой, — в первую очередь, православной экзегетикой, но также и каббалистической, иудейской, — как *четыре царства*. На основании видения Даниила как раз основана концепция смены четырех империй.

Медные ноги колосса символизируют третье царство или греческую империю Александра Македонского. Иными словами, описание Бегемота и Левиафана — это более сложная вещь, чем способно понять большинство представителей остывающей Традиции.

«Есть такие специальные гиппопотамы, — напишет какой-нибудь никонианский клирик-рационалист, — которые действительно могли бы попасть в Ветхий Завет для того, чтобы пугать праведников», а про Левиафана «да, в те времена водились крокодилы, которых модно было принять за морских змеев, да и поймать их было сложно, и губы продырявить им сложно...» Эта мешанина из рационализма и «мультипликационного» представления о Традиции как раз и составляет чаще всего популярную экзегетику наших современных никониан.

В отношении и Бегемота, и Левиафана существует колоссальное количество подозрений и онтологических интуиций.

В частности, одно из толкований этих двух «зверей» подразумевает, что речь здесь идет о двух царствах. На основании этого Карлом Шмиттом была выстроена замечательная, на мой взгляд, типология, лежащая в основе современной геополитики: цивилизация суши — это

цивилизация Бегемота, а цивилизация моря — это цивилизация Левиафана.

Бегемот и Левиафан в Талмуде и Каббале

Очень любопытно происхождение слова «бегемот». Дело в том, что это множественное число от ивритского «бехема». «Бехема» — это зверь, животное. «Бехемот» — это звери. Один (на сей раз вменяемый) комментатор, по этому поводу пишет: «Как говорится не “эйлоха”, а “эйлохим”, то есть Бог во множественном числе, чтобы показать превосходную степень, так, возможно, следует воспринимать и “бехемот” вместо “бехема”, употребляющийся, чтобы показать отменную силу этого явления». Иными словами, понятие «зверя», с которым мы сталкиваемся в Апокалипсисе, определенным образом связано с фигурой «бехема».

Что касается этимологии Левиафана, остающегося в воде, когда Бегемота вытаскивают на сушу, то она, согласно трактованию, восходит к корню «левио», означающему «извиваться». То есть «Левиафан» происходит от того же корня, что и «Лилит». Я раньше думал, что «Лилит» происходит от слова «ночь» — «лейла», но потом один современный каббалист меня поправил, указав, что на самом деле, здесь другой корень, тот, о котором я сказал. Иными словами, Левиафан — это морской змей.

Любопытно, что описание Бегемота и Левиафана в каббалистической литературе дает ряд подробностей. Например, в одном из мидрашей говорится, что Бог сначала создал двух Левиафанов — мужского и женского пола. Это напоминает того Бегемота мужского пола, которого мы знаем из «Книги Еноха» и, собственно, из самого образа Еноха. Итак, вначале Бог создал двух Левиафанов, мужского и женского пола, но, чтобы они не размножились и не уничтожили мир, он убил самку

Левиафана, засолил ее, чтобы подать к столу праведникам на пиру у Машиаха после воскресения.

Левиафан, по описанию каббалистов, живет в глубине моря, и глаза его испускают свет. Когда он голоден, то нагревается так, что волны океана закипают. Говорится, что изо рта Левиафана страшно воняет.

Еще одна любопытная деталь из мидрашей: Левиафан ничего не боится, и никто ему не страшен, кроме маленького червячка *килбит*, о котором кроме этого единственного упоминания ничего не известно.

Солнечный Енох

По поводу Еноха можно почерпнуть многое в раввинистической литературе. Анализ фигура Еноха и его символизма мог бы занять целую лекцию. Собственно известно о нем очень мало: он жил 365 лет и «ходил с Богом». И потом его больше никто не видел. Считается, что он был взят на небо, как и пророк Илия, и он вернется как свидетель Апокалипсиса в последние времена.

Это традиционное православное и католическое трактование.

С Енохом была связана масса апокрифов. В частности, хорошо известна «Книга Еноха», о которой уже упоминалось.

Он считался символом «христианской инициации», поскольку, по одному из апокрифов, он единственный из живых, кому удалось после изгнания Адама из рая, вернуться туда. Есть несколько историй, каким образом он туда вернулся и чаще всего эти истории очень интересные.

Обычно говорится, что он тем или иным образом обманул пылающего Архангела, который сторожил вход в Эдем. Согласно одной истории,

он сказал, что его предок Адам забыл сандалии под райским деревом. И когда его Архангел впустил, то Енох назад не вышел, хотя обещал.

Другая история нам сообщает, что он стал карабкаться на стену рая, пытаясь перебраться через нее, и карабкался, пока не сорвал в кровь ногти, тогда Бог сжалился над его усилиями и протянул ему руку с той стороны.

Функциональный смысл фигуры Еноха имеет, безусловно, солнечный (солярный) характер. Енох — солнечный персонаж, поэтому он не умирает, а возвращается туда, откуда всё пошло. Он выпадает из цикла человеческой судьбы, поскольку речь идет не о человеке, но о *солярном герое*.

Метатрон

В раввинистической литературе, столь же внезапно, сколь и у нашего бегунского толкователя, упоминается о том, что Енох был *непостоянен*. Рабби Аббаху неожиданно пишет: «Енох был совсем не таким, как многие думают. Он был непостоянен, и Бог просто убрал его, чтобы он не повторял ошибок, спрятал его с глаз долой. А умер он от чумы».

Здесь опять-таки явно прослеживается *двойственность Еноха*. Стоит вспомнить и о ниспавшем Деннице...

Существует такое явление, как меркаба-гнозис. Это одно из направлений в иудейском гнозисе, связанное со древней школой пророка Иезекииля. В центре этого учения было созерцание Трона Господня, образец чего дан в видении Иезекииля. В этой традиции существует направление, рассматривавшее Еноха как Метатрона. Енох представлялся высшим Ангелом, стоящим перед лицом Трона Господня и являющимся фактически Сар Ха-Офаним — то есть

Ангелом или Князем Лица, первым из ангелов. Естественно, это солнечный архетип. В меркаба-гностическом контексте Еноха также называют Сафра Рабба — «великим писцом». Еще он интерпретируется в этой традиции как посвященный *par excellence*. Он — предводитель ангелов. А кем был Денница, мы тоже помним. Опять — тончайший и давно утраченный, ставший периферийным даже в каббалистической традиции -- меркаба-гнозис вдруг вспыхивает, совершенно неожиданно, в нашем бегунском толкователе.

Соответственно, если здесь говорится о Енохе омраченном, а перед этим говорилось о ниспавшем Деннице, то мы должны вспомнить о том, что как Енох освещенный отложил нечестие и избрал чистоту, так Енох омраченный отложил чистоту и избрал нечестие. Иными словами, речь идет о «падении ангелов». И если двойственность Еноха — царя ангелов, Денницы — интерпретировать в таком, очень тонком контексте, возможно, станет понятным опасение Рабби Аббаху относительно Еноха, как и стремление его релятивизировать.

Обращаясь к цитируемым ранее фрагментам, можно предположить, почему Бегемот назван «начатком здания Господня» — «первенцем создания Господня». Естественно, что глава ангелов был первым созданием Господа.

Геополитика глубин

Взаимозаменяемость, субтитутивность Еноха и Бегемота в сложнейшем метафизическом комплексе традиций позволяет сделать очень далеко идущие выводы. Люди, внимательно изучающие геополитическую дисциплину, должны понять, что отождествление цивилизаций суши и моря с Левиафаном и Бегемотом — это очень глубинные вещи. Это не просто условная метафора. В традиционализме условных метафор не бывает.

Метафора — это инициатическая реальность; если мы говорим, что нечто похоже на что-то, мы осуществляем онтологический, сущностный перенос того, что похоже на это. Если говорится, что колдун похож на собаку, — это, будучи инициатической метафорой, означает, что колдун переносит себя на собаку, *становится собакой*. Дело в том, что за всё в мире Традиции и традиционализма надо платить. И соответственно, за те метафоры, которые мы используем для описания, может быть, даже современных, прагматических явлений, тоже надо платить.

Меня самого часто тревожила линия отождествления Бегемота с цивилизацией суши, и его соответствие некоему центру, ядру и пульсу евразийства как некоего эсхатологического учения о триумфе суши. Так вот, тематика Еноха освещенного, — но также и Еноха помраченного! — подсказывает нам новое измерение в том фундаментальном, эсхатологическом, политическом, культурном и геополитическом деле, которое мы ведем.

Еще раз обратим внимание: где располагался Бегемот после отделения от Левиафана? Он располагался на востоке от рая, в пустыне Нод, которая означала сухопутные просторы, лежащие к востоку и северу от Евфрата. *Евразия — это и есть лежбище Бегемота*. Здесь он находится, здесь он скрыт, здесь он присутствует, и та держава, та империя, то царство, которое регулярно вырастает на евразийской территории, находится в священном и тонком альянсе с *духом Бегемота* и, соответственно, с духом Еноха. Вот почему это и есть начало путей Господних.

Звери пятого дня

История с Левиафаном и Бегемотом в Библии идет вразрез со строго креационистским контекстом. Для большинства домонотеистических и

политеистических традиций такое представление о творении мира из двух начал, — о разделении единого хаоса, как это видно, скажем, на примере Тиамат (хаос, по-еврейски *tehom*) и Кингу (змей, по-арамейски, древневавилонской мифологии, — является закономерным элементом манифестационистского понимания происхождения мира. Но в Библии тематика генезиса, происхождения тесно связана именно с творческой активностью трансцендентного начала Творца. Он не преобразует, не испускает из Себя, Он создает *ex nihilo* — из ничто. История же разделения Еноха и Левиафана (или Бегемота и Левиафана) на мужское и женское начала, противопоставление сухого и влажного начал дает представление об иной матрице космогенеза. И здесь снова возникают всё те же преадамитские мотивы: мол, Адама Бог создал, но до этого были другие Адамы, которые возникли по-другому – как-то *иначе*. Не через акт креации, а через более сложные, манифестационистские процедуры.

Если предположить, что существуют некреационистские процедуры по возникновению живых душ, то мы поймем, почему здесь речь идет о Бегемоте, о «зверях». Не о тех зверях, которые были созданы на шестой день творения и которым Адам давал имена. Эти звери были созданы, как обычные *ens creatum*, они суть *креационистские звери*. А возможно, были звери (да и звери ли они?) не созданные, а возникшие, явившиеся *до* этого креационистского акта шестого дня. *Звери пятого дня*.

Не были ли эти «бехемот» — сухопутными зверями пятого дня? А еще были и морские звери пятого дня. Тоже очень страшные...

Современные историки религии иногда часто отождествляют Еноха с вавилонским царем Еммедуранки, поскольку седьмой царь вавилонского солнечного города имел похожие имя и символизм. Есть исследования о заимствовании фигуры Еноха из вавилонской традиции, экстравагантно вплетенном в креационистскую канву Ветхого Завета.

Крокодил, тревожащий нас

Многое в описании Левиафана связано с интерпретацией фигуры крокодила. Крокодил — это в определенном смысле *редуцированный Левиафан*, но не Левиафан разрешается в крокодиле (и все успокаиваются после такой доброжелательной экзегезы в духе «Спокойной ночи, малыши»), а наоборот, *крокодил разрешается в Левиафане*. Когда мы говорим о крокодиле, то имеем в виду якобы что-то понятное и очевидное. Однако крокодил — символ египетского бога Сета, символ тьмы, разложения и вселенского зла, он — «проглатывающий Солнце». И если вспомнить о солярном символизме Еноха, то со всей очевидностью станет ясным, что крокодил — это его антипод, водный, океанический принцип. Он и есть тот самый змей, которого Господь создал «ругаться ему». И *говоря о крокодиле, мы должны не успокаиваться, а тревожиться*. Потому что разрешается он в загадочном Левиафане и той преадамической, манифестационистской реальности, на которую я намекнул.

Чебурашка демон Луны

Недавно мы с коллегами говорили о советской сакральности. Обычно в состоянии стресса или глубокого опьянения человек открывает свое подсознание, показывая, что у него внутри. И когда советский или постсоветский человек «наберется» и расчувствуется, он обычно поет песню про то, как «катится голубой вагон», про крокодила Гену и Чебурашку. Вроде бы это безобидные персонажи. И действительно: один — в шляпе, плачет, говорит добрым хриплым голосом, другой — безобидный, совсем ни на кого не похож, его жалко. Но на самом деле, это тонкое кодирование подсознания фундаментальными мифологическими образами под видом добродушных персонажей.

Советское подсознание закодировано фундаментальными бездонными существами.

Если крокодил разрешается в Левиафане, то образ «крокодила Гены» меняет свое значение. Так к нам приходит левиафаническое начало — атлантизм — вместе с джинсами, с «Битлз», финским плащом и сапогами на платформе. А потом смотришь — и страны нет. А начиналось с безобидного «катится голубой вагон»...

Что касается Чебурашки, то тут тоже не всё так просто. Неслучайно его так полюбили японцы, в чьей традиционной демонологии есть такие персонажи, как покемоны. Японцы распознали Чебурашку как своего. Однако точных аналогов у Чебурашки нет.

Лет 15 назад я проводил специальное исследование, посвященное метафизике Чебурашки. И я понял, что речь идет о демоне Луны, которого зовут Шердбаршешотшертатан. Имя, конечно, не совсем похоже, но что-то в этом есть.

Пустая, светская, совершенно прозрачная рациональность (сгнившего) модерна, культура подвыпивших людей, кому за 50, разрешается в фундаментально глубинных реальностях, которые здесь и сейчас аффектируют наше существование, будучи совершенно незамеченными нашим сознанием.

Бегемот и Левиафан: рандеву в Конце времен

Когда появляется опять эта страшная парочка — Бегемот и Левиафан? В конце времен, в Апокалипсисе святого Иоанна Богослова.

Вот, что написано там о Левиафане, который однозначно трактуется как антихрист:

«И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадим, а

на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него — как у медведя, а пасть у него — как пасть у льва; и дал ему дракон силу свою, и престол свой и великую власть. [...] И поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с ним? И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем».

Здесь, безусловно, согласно всем традиционным комментаторам, речь идет о Левиафане, звере, выходящем из моря. Это — атлантическая реальность, которая надвигается на нас в последние времена. Любопытно описание этого зверя. Оно полностью воспроизводит символику пророческого сна Навуходоносора, истрактованную пророком Даниилом относительно судьбы государств в последние времена. Лев (золото), медведь (серебро) и рысь (медь) — это символы трех изначальных царств — Вавилонского, Персидского и Греческого. А четвертое (железное) — Римское (по толкованию Ипполита Римского).⁽⁶⁾

Мы видим, что морской зверь, зверь из бездны, Левиафан, который и так уже был нами опознан как родственник Лилит и Самаэль, здесь описан в сочетании с атрибутикой государственных образований, царств, империй.

Безусловно, «The Benevolent Empire», «империя добра», о которой говорит теоретик американских неоконсерваторов Роберт Кэйган, является в историческом толковании воплощением, фиксацией именно этой левиафанической реальности. Но если бы в Апокалипсисе всё заканчивалось только этим, то можно было бы вздохнуть с облегчением и сказать: «Вот, действительно, — страшная вещь, — на нас надвигается Левиафан». Мы помним, что его уготовили как блюдо для праведников, и победа над Левиафаном со стороны трансцендентного начала вписана в мировую историю, тем более что Енох появляется здесь же, в контексте Апокалипсиса, как свидетель Апокалипсиса, который снова приходит в мир, обличать вместе с Илией Пророком антихриста и его власть.

Но здесь речь идет о *двух зверях*, о которых мы говорили прежде. И в последние времена (симметрично картинам начала Творения, пятому дню) они *появляются снова*. Первый раз они появились еще до сотворения Адама, а в самый последний момент мы опять видим Еноха в качестве свидетеля, который вместе с Илией приходит судить, обличать антихриста и принять смерть от него.

Вся проблематика нашей лекции станет особенно острой, если мы обратимся к еще одному отрывку из Апокалипсиса:

«И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действует пред ним со всею властью первого зверя, и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела». Помимо прочего он накладывает всем «начертание на правую руку их или на чело их, чтобы никому нельзя [было] ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, — речь идет о звере земном, — ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть».

В этот парадоксальный эсхатологический момент опять выходят на первый план два зверя, «бехема» — «бехемот», и картина становится еще более зловещей. Если «бехемот», будучи «начатком пути Господня», и есть этот просветленный Енох, солнечное начало Традиции, возможность вечного посвящения, даже тогда, когда посвящение запрещено, о чем свидетельствует возврат Еноха в рай с помощью хитрости и особого усердия, то здесь мы видим *темную сторону Бегемота*. И если тождество или хотя бы некая связь, ассоциация Еноха с Бегемотом верны, то, возможно, здесь и кроется *тайна Еноха омраченного*, на которую намекает бегунский автор.

Три апостасии

Признаться, трудно сделать дальше какой-то вывод, поскольку ситуация дошла до некой критической метафизической и интеллектуальной точки. Конечно, для старообрядцев здесь проблемы никакой нет. Они говорят: мы знаем *три апостасии*.

Во-первых, апостасию Рима, когда Запад отпал от Византии, короновал псевдо-императора Шарлеманя, пока, наконец, сам Папа Римский не стал антихристом (а еретицы-католики жрут бобров Великим Постом). Они отступили, и история, по сути дела, в той части света кончилась, там один Левиафан и остался.

На втором этапе, — говорят старообрядцы, — было падение самих греков, крах Византии – как воздаяние за богомерзкую Флорентийскую *унию* с католиками (продуктами первой апостасии). Сюда же ко второму этапу относится и отпадение украинских униатов (за что их русские и православные украинцы их возненавидели).

И наконец, третьей апостасией для старообрядцев были *никоновские реформы*, Собор 1666–1667 гг., когда Московское царство, бывшее столпом спасения, «Енохом освещенным», свидетелем и последним бастионом веры и истины, пало перед лицом уже «никонианских униатов» и тех, кто пошел в том же самом направлении. И вот тогда-то российская государственность, Святая Русь превратилась в Еноха омраченного, ставшего «лжепророком».

Лжепророк взывает обращается к антихристу как к *модели*, он привлекает к антихристу взгляды и сердца, предлагает склониться перед ним. Он, конечно, очень нехорошее существо, этот зверь из земли, но всё-таки *чуть-чуть лучше*, чем зверь из моря, поскольку постоянно подчеркивается, что лжепророк действует не сам, а от имени некой океанической, левиафанической сущности. Он *приводит народы земли к зверю морскому*. Хотя я мог бы сказать, что он *достаточно плох* для этого. И он, конечно, плох, потому что выполняет негативную функцию, но источник зла всё-таки там, на

Западе, в атлантических безднах океана, бурлящего от Левиафановой страсти.

Это многое объясняет, поскольку в таком случае можно сказать, что некие атлантистские аспекты российской государственности, которые мы видим в романо-германский период, или в период 80–90-х гг. XX в. и были исполнением этой антихристовой задачи и положением печати беззакония на чело России.

Старообрядцы, особенно бегуны, считали, что печатью антихриста является российский паспорт и символ двуглавого орла.

Двуглавый орел, кстати, может быть рассмотрен в своем демоническом аспекте. Образ двуглавого орла восходит к каббалистической изначальной птице Зис, появившейся, по одному из преданий, вместе с Левиафаном и Бегемотом, и бывшей такой же загадочной и мрачной манифестацией. Двуглавого орла старообрядцы как раз считали знаком «темного Бегемота», и, соответственно, *Еноха омраченного* и зверя, выходящего из земли.

Мыслить недуально

Теперь попытаемся свести всё сказанное воедино. Евразийство как подход, безусловно, и эсхатологично, и геополитично единовременно. Мы говорим о миссии континента, миссии суши, миссии земли. И если сопоставить эту миссию земли с тождеством Бегемота и Еноха, то можно сказать, что это солярная миссия и это — *«начаток путей Господних»*, фундаментальная манифестационистская реальность, предшествующая творению Адама и других креационистских зверей, реальность, которую мы отстаиваем, тот дух, который мы защищаем — это дух, укорененный в уникальной, удивительной, подчас

неразгаданной нами истории, это -- дух Еноха просветленного, Еноха праведного.

В эсхатологической ситуации евразийство представляет собой функцию Еноха, вернувшегося вместе с пророком Илией для того, чтобы свидетельствовать об антихристе, для того, чтобы обличать, разоблачать его, для того, чтобы выводить его на чистую воду. И здесь, безусловно, *Енох освещенный становится в оппозицию Еноху омраченному.*

Но раз уж мы вышли за пределы креационизма с его неснимаемым дуализмом — Творец и творение, с его *ex nihilo* — то не должны ли мы осмыслить *омраченного Еноха как тень*? Не как самостоятельное явление, а как тень *единого Еноха*. Может быть, Енох по сути един? И может быть, суша — тот метафизический принцип, который мы защищаем, — это лишь обратная сторона Солнца?

Если вспомнить здесь нашего любимого Ксенофана⁽⁷⁾, это соотнесение не будет выглядеть таким уж натянутым. И не исключено, что и у самого Солнца есть две стороны. Демон Солнца, между прочим, в каббале имеет имя «Сорат», а число его как раз 666.

А вот в «Книге Еноха» говорится следующее:

«Есть у Солнца два имени. Первое — Арэрас, а второе — Томас. И Луна имеет четыре имени, — говорит «Книга Еноха», — первое — Азонья, второе — Эбла, третье — Беназэ, четвертое — Эраз».

Поскольку никакого конструктивного и позитивного вывода из этих соображений сделать невозможно, я закончу другой цитатой из «Книги Еноха».

«И от этого в моих устах обрелась речь. И я начал восклицать, и сказал: погибла земля».

Сноски:

(1) См. подробнее А.Дугин «Философия традиционализма», «Постфилософия» М. 2008

(2) Отчасти это сделано в книге «Постфилософия», указ. соч.

(3) Привожу фрагменты из этой бесценной полемики, которую написал «грешный Афанасий» (А.Г.Мурачев) в марте 1977 г. «на обличение Шурнишенской ереси» (опубликовано в старообрядческом журнале «Духовные ответы», №8, за 1998):

«Жили два соседа, обои ложнодуховномудренники, и часто они один к другому гостевали и о своем фанатизме разсуждали. И вот шестаго декабря, в Рождественском посте, поспешил сосед придти к своему другу, котораго и застал за трапезой, и как только порог перешагнул, так и напахнуло ему жареным мясом, и он, хотя с рассеянными мыслями, но положил три поклона, поздравил хозяина и трапезу его и мгновенно обратил взор на трапезу хозяина и видит – у него стоит на столе сковорода, а на ней зажаренная человечья нога, и гость от удивления и от ужаса стал как ошеломленный. А хозяин ему ответил: милости просим, – и приглашает его за трапезу, говоря:

– Давай, братец, добавляй три поклона, добро жаловать со мной за трапезу.

А гость едва собрался с мыслями и говорит:

– Ах, как приятно пахнет твоим жаревом, из чего же оно у тебя?

Хозяин ответил:

– Хвостовую часть от рыбы зажарил, – а сам облизывал испачканные пальцы.

Гость, сомневаясь по-прежнему уличить, и говорит:

– Прости, братец, а мне кажется, что у тебя что-то не рыба на сковороде.

Хозяин говорит:

– Но, а что скажешь, капуста, или картошь? Сегодня в уставе разрешается поить рыбу.

Гость:

– Да, мне кажется, что у тебя на сковороде человечья нога.

Хозяин:

– Ну, и что, если нога, но не человечья, как ты говоришь, а рыбья?

Гость:

– Я век прожил, не видал рыбьих ног и от людей не слыхивал, что у рыбы есть ноги.

Хозяин повысил голос и говорит:

– А ты кто, духовнопонимающий или чувственник-буквоед?

Гость:

– Ну, конечно, духовнопонимающий, ты и сам меня знаешь.

Хозяин:

– Нет, я вижу тебя, что ты еще не совсем духовнопонимающий, а только исполу: ты разве не знаешь, кого Божественное Писание называет рыбой? Давай, раскроем Евангелие от Матфея, 13, стих 47, о неводе. Не

думай, что это чувственный невод и для чувственной рыбы, нет. А также и от Луки, глава 5, стих 10. Иисус Христос сказал Петру: не бойся, отседе будещи человеки лова. И в недельном Евангелии, в неделю 18, на листе 298 об. говорит: "Таже и обещався (Иисус) ловца человеком сотворити их (учеников). Вместо мрежия, еже имеяху, даде им от всех словес законных же и пророческих, еще же и от божественнаго поучения Своего сплетену мрежу, даже вверзают в море человеческого жития, и обьмут елицех аще обрящут исполняюще своя словесная мрежия, от всякаго рода словесных рыб, еллин же и варвар, и привлекут сих от смерти на живот. А еще в Благовестнике и в Нравоучительном Евангелии прочти на эти зачалы и более уверишья. Да, если хочешь, я тебя завалю свидетельствами от Божественнаго Писания, я в Писание верю более всего на свете, и Писание нужно понимать только духовно. Если иудеи пророческое Писание понимали чувственно, то мы наперекор им святоотеческое Писание будем понимать духовно. А вы должны смотреть на нас, грамотеев: мы для вас свет миру и соль земли (Мф., 5, 13). Вы должны полностью доверяться нам: ведь ключ разумения в наших руках (Лк., зач. 62). Ну, и как теперь, ты согласен со мной, что Писание говорит о духовной рыбе, которую я действительно поджарил на сковородке?"

Гость:

– Конечно, ты грамотный, я верю тебе. Но почему раньше этого не было, чтобы такую духовную рыбу истить?

Хозяин:

– Говоришь, почему не было? Это потому, что Писание еще не совсем понимали духовно. А чем понимать духовнее, тем оно спасительнее; уже человек убивающей буквы не будет касаться, она полностью останется в чувственном понимании. Но если допустим, к слову, что это говорит устав о чувственной рыбе (только не искусил бы лукавый на деле), то надо будет сети, надо лодку, надо то, надо другое, а это ведь любоимение и любостыжание, которое Писанием запрещается, говорит Евангелие от Луки, зач. 9: "Если

имеешь две ризы, подаждь одну неимущему", а у апостолов были даже сети свои и лодка, но Христос велел оставить все (Лк., зач. 17). А для духовной рыбы все это ненужное – ни лодка, ни сети – она живет на суше, и нужен только один топор, которым дрова рубишь, тем и эту рыбу добудешь – конечно, и ножом можно, Христос не запрещал апостолом иметь нож, Он сказал: "Да продаст ризу свою, и купит нож". А апостоли ответили, что у нас уже два ножа, и Он сказал: "Довольно есть" (Лк., зач. 108).

– (...)

Гость:

– Нет, братец, не стесняйся, и не ленися учи, твое дело учить, а наше дело слушать и подчиняться. Да еще я спрошу: как ты, братец, духовную-то рыбину поймал и какой она породы?

Хозяин:

– Породы она татарской. За рекой татарин ночью выжигал известьку и потом заснул, а я подкрался и топориком стукнул по голове, и он перестал трепескаться, а потом приволок его домой.

Гость:

– А все же страшно ету духовную рыбу добывать. Если узнает начальство, то в тюрьме сгноят или сразу жизни лишат.

Хозяин:

– Да что и смотреть на ето? Хоть лося или осетра или духовную рыбу, все надо тайком добывать: если узнает рыбнадзор, то за лося и за осетра не поглядит по головке.

Гость:

– А вот у меня никак не поднимается рука добывать духовную рыбу; мне кажется, это человекоубийство.

Хозяин:

– Я уже сказал тебе, что ты не совсем духовнопонимающий, а только исполу. Тебя убьет убивающая буква, ты должен бояться ее, как зверя: она тебя ужалит, она тебя уест: гони ее, гони от себя прочь, как волка в лес, как вепря в дубраву. Она для вас явная пагуба, она для вас как волосная петля. Вот меня она уже не убьет, я ее выгнал из всех книг, я смотрю на нее, как на крокодила, я следую животворящему духу, я испытываю Писание по Господню гласу (Ин., 5, стих 39). Я извлекаю из Писания внутри лежащий смысл, я ненавижу иудейскую лень, которые понимали Писание по букве, я осуждаю всех чувственников, буквоедов, буквожоров. За то, что они толкование святых отцов понимают по букве, то есть, по письму. А ведь писмя убивает, а дух живит. А если дух живит, то нужно понимать все Писание духовно, вплоть до детской азбуки. Ну и как, теперь ты согласен со мной?

Гость:

– Ну, это я понимаю и также говорю, что писмя убивает, а дух живит. Но я смотрю, братец, на тебя, что ты что угодно вынешь из Писания.»

(4) «Духовно понимающему» А.К.Килину через исследовательницу старообрядчества Е.А.Агееву я посылал сборник «Конец Света». В своем ответном письме он поблагодарил за посылку, но добавил, что книгу пришлось «пожечь без прочтения, поеже имя Божие там написано еретическим письмом» (в «Конце Света», увы, я не успел поправить имя «Исус», убрав богомерзкое лишнее «и»).

(5) «Еже есть начаток здания Господня, створен поруган быти ангелы его. Вшедше на гору остру сотвори радость четвероногого в тартаре. Но убо есть зверь у тебе, траву яко волове яст. Се убо есть крепость его на чреслах его. Сила же его на пупе чрева его. Постави бо

ошибия яко кипарис Жилы же его яко убо сплетены суть. Ребра же его ребра медяна. Хребет же его железо льяно.» (Иов 40:1)

(6) У пророка Даниила (7) читаем:

1. «И четыре больших зверя вышли из моря, непохожие один на другого.

2. Первый – как лев, но у него крылья орлиные; я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он встал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему.

3. И вот, еще зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, между зубами его; ему сказано так: «встань и ешь мяса много!»

4. Затем видел я: вот – еще зверь, как барс; на спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя сего, и власть дана была ему.

5. После сего видел я в ночных видениях, и вот – зверь четвертый, страшный и ужасный и весьма сильный; у него – большие железные зубы; он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами; он отличен был от всех прежних зверей, и десять рогов было у него.

6. Я смотрел на эти рога, и вот, вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были пред ним, и вот, в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно.»

7) Про Ксенофана и его учение см. подробнее главе «Ночь и ее лучи» настоящей книги.

Глава 4. Радикальный Субъект и его дубль (к онтологии антихриста)

Новая метафизика как метафизика конца

В серии моих лекций в предыдущие годы я затрагивал две принципиальные темы: это, во-первых, *классическая метафизика, адаптированная к тому экзистенциальному пространству, в котором мы с вами находимся*; и во-вторых, в конце книги «Философия традиционализма» я, совсем вскользь, коснулся того, что можно назвать «*новая метафизика*» или «*пост-метафизика*».

Говоря в одной из лекций, опубликованной в книге «Философия традиционализма», о фундаментальном парадоксальном состоянии исторической и космической среды в некоей точке, я приводил в пример фигуру Николая Кузанского «*Парадигма*»⁽¹⁾. В лекции «Истоки великого зла» я набросал штрихи той «*новой метафизики*», которая позиционирует себя в разрыве с конвенциональной традицией и ставит такие травматические вопросы, поднимает такие болезненные метафизические темы, которые традиционная метафизика не затрагивала, поскольку ей хватало своего собственного содержания. Несколько слов на эту тему я обронил и в предшествующих лекциях данного цикла – «Радикальный Субъект»⁽²⁾.

Мы неуклонно приближаемся к важнейшей метафизической точке космического цикла -- очень радикальной, очень «драстической» точке. И сама жесткость экзистенциальных, онтологических и

циклических условий заставляет нас обратить внимание на те вещи, которые в конвенциональной исторической традиции были акцентированы лишь вскользь, либо не были затронуты вообще.

Трудно даже определенно сказать, мыслили ли в этом направлении представители традиционной метафизики... Наверное, в каких-то случаях мыслили, и я постараюсь ниже привести ряд примеров этом. Но в любом случае хочу подчеркнуть, что речь идет о совершенно *уникальных условиях*, где метафизические вопросы решаются совершенно *по-особому*, а метафизические проблемы совершенно *по-особому* решаются.

Можно назвать эту новую метафизику *метафизикой конца*. Эта метафизика заинтересована, пожалуй, единственной точкой онтологической истории -- той, которая в «Парадигме» Николая Кузанского представлена как пересечение вершины светлого перевернутого треугольника с основанием черного. Эта точка представляет собой момент абсолютной концентрации новой метафизики.

Сера, ртуть и соль

Два слова о символизме этой фигуры. Речь идет о конвенциональном традиционном символе, *изображающем дуализм космического устройства*. Белый треугольник, обращенный вершиной вниз, представляет собой световую часть Вселенной, качественное, небесное начало, то, что в герметической традиции называется принципом *серы* — это мужской принцип или Верхние Воды. Нижний треугольник, обращенный вершиной вверх — это треугольник Нижних Вод, треугольник количества, треугольник теневой стороны реальности. В герметизме ему соответствует *ртуть*, женское начало.

Мы знаем и другие дуальные символы, ими изобилует Традиция. В частности, китайский символ инь-ян. «Парадигма» Кузанского иллюстрирует, как на высших уровнях реальности изобилует свет, а наличие тьмы минимально, и наоборот, в толщах космического дна изобилует тьма, преодолевающая свет. Промежуточные уровни представляют собой наложение светлого начала (сера) на темное (ртуть) или то, что в герметической традиции называется *солью*. Верхний, отеческий, небесный принцип и нижний, земной порождают мириады живых существ, которые после своего конца снова разлагаются на две составляющие — световую и тeneвую. В этой фигуре отражена симметрия, баланс вселенского существования.

Нисхождение

Но если мы вспомним «Царство количества и знаки времени» Рене Генона, да и общую для всех традиций картину развития космического цикла, мы можем рассмотреть священную историю как *процесс нисхождения от верхнего состояния к нижнему*. История в любой традиции и религии мыслится либо однозначно как *однонаправленное нисхождение*, либо как *нисхождение циклическое* -- с последующим возвратом. Но нет ни одной религиозной традиции, которая бы иначе рассматривала устройство бытия и говорила бы, например, о прогрессе или постоянном восхождении.

Можно, конечно, вспомнить, что и в древности люди проклинали черное настоящее, говоря: «посмотрите, как плохо сегодня, как много тьмы, умирают боги, распадаются нравы, вырождаются традиции, начинается хаос, не держатся семьи, кругом беспорядок, а как было хорошо раньше». Это -- фундаментальная как черта человеческой психики, берущей по инерции прошлое за образец, так и совершенно справедливая оценка логики исторического процесса, который и представляет собой это нисхождение. И даже если в прошлом, которое

нам, живущим сегодня, видится вполне прекрасным и героическим по сравнению с настоящим, его современникам оно уже казалось вырождением и упадком, это еще не значит, что кто-то из нас – предки или мы сами – ошибаемся. Наше настоящее хуже нашего прошлого (как далеко мы можем его помнить), но то, что было настоящим для наших предков было также намного хуже того прошлого, которое было прошлым для них и которое они еще могли помнить, но от нас оно уже скрыто непроглядной пеленой времени.

В каждом из срезов этой геометрической фигуры, на каждом онтологическом уровне, на каждом плане происходит вполне естественное *уменьшение* светового присутствия по сравнению с тeneвым присутствием. Это, по сути, описывает то, что можно назвать *ухудшением качества космической среды* — вырождение людей, нравов, обычаев, духа, культуры, политических институтов, да и вырождение самой природы -- ежиков, жуков, стрекоз, рыб и бобров, мух (мухи сейчас пошли не те, что раньше, вот раньше были мухи как мухи, а теперь что)... Всё постепенно падает. И райские ежики, которые ползали в Эдеме, безусловно, были совершенно *иными* -- у них не было игл. Они, я думаю, умели говорить, и, наверное, летать... Не только человек утрачивает свои качества, но и сама среда и твари бессловесные становятся более жестокими, злыми, бестолковыми, ядовитыми и безжалостными. Раньше все они говорили, всё понимали, участвовали в общем процессе бытия, но постепенно дошли до того состояния, в котором они пребывают сегодня. Традиция много говорит о языке птиц, зверей, муравьев, орлов, медведей. Это был очень интересный и содержательный язык, но современные животные его забыли. Кое-что помнят только вороны, дельфины, кошки и соловьи...

Свет не может исчезнуть до конца

Светлый треугольник, обращённый вершиной вниз – это сужающийся конус Традиции, стягивающийся к уровню *горчичного зерна*, но, тем не менее, он всегда остаётся действенным (сияет) и всегда наследует ту полноту бесконечного света, которая преобладает на других этапах цикла и которая изливается даже в это сужающееся пространство.

До определенного момента как бы ни ухудшались условия среды, присутствие духа, присутствие божественных энергий сохраняется в мире, и всегда есть маленькая часть, которая возвращает человека, а через него и другие существа к этому спасительному столпу светового присутствия, светового «растворения сверху».

Точка полуночи и «теология» богооставленности

Если мы внимательнее приглядимся к фигуре «П», то увидим, что в какой-то момент верхний световой треугольник доходит до своей вершины и представляет собой уже не треугольник, а точку – или треугольник «бесконечно малого объема», и эта точка, принадлежащая к белому треугольнику, становится просто одной из точек отрезка, являющегося основанием *черного* треугольника. Вот тут-то и возникает крайне интересный феномен, который и дает основание для новой метафизики.

В трагическом, *травматическом* аспекте он фундаментально осмыслен атеистической традицией Запада: Ницше, Хайдеггером, экзистенциалистами, которые проблематизировали великую метафизическую катастрофу – «смерть Бога» у Ницше, удаление Бытия (Sein) у Хайдеггера, бытие и ничто у Сартра и т.д. В определенный момент складываются такие онтологические условия, когда Традиция больше не способна выделяться из общей деградировавшей среды, не способна противостоять вырождению и сохранять свою идентичность. Она представляет собой уже не просто

малый, но *бесконечно малый* феномен, и тут возникает «теология» богоудаления, богооставленности. Так возникают совершенно новые онтологические условия – *условия конца*. Будто божественная искра отрывается от своего истока и отчаянно не может найти возврата.

Эта искра предоставлена отныне самой себе и имеет перспективу только постепенного угасания в мертвом пространстве нижней части треугольника тьмы. Невозможность реинтеграции в световую реальность порождает совершенно специфическую модель соотношения человека со своим божественным истоком. Здесь напряжение парадокса достигает своего пика.

И до того поиск Традиции в темные времена представляет собой неимоверно сложное мероприятие, но *в условиях конца* это предприятие не просто сложное, но практически *невозможное*. Возможность обретения собственного истока, реинтеграция в световой треугольник становится практически невероятной. Всплывает абсолютно новый богооставленный мир, складывается феноменология постметафизической экзистенции, *бытие искры в отрыве от светового истока*.

Природа гностической тоски

В Традиции есть несколько секторов, несколько направлений осмысляющих такое положение. Нечто подобное лежит в основе *гностического переживания*. Напомню, что гностики постулировали крайний трагизм имманентного существования — в отличие от большинства других традиций и от христианской традиции в ее негностическом (никейском) издании. Никеиское христианство считало, что, несмотря на ухудшившиеся, осложненные условия

человеческого существования, в темную эпоху конца существует всегда возможность через церковные таинства, принадлежность к Церкви и Божию благодать быть спасенным, искупленным и возвращенным к своим собственным истокам.

Древние гностики драматизировали эту ситуацию и ставили под сомнение *саму возможность* такой операции. Они говорили не о спасении (о том, как его трудно стяжать), но ставили под вопрос *саму возможность спасения* в определенных специальных условиях последних времен.

По сути дела, они говорили, что происходит *раздвоение Традиции*. Гностики учили, что существует Церковь и церковь, сакральность и сакральность. Они подозревали, что человеческая история уже достигла такого состояния (или оно было изначально — в разных моделях гностицизма даются разные оценки), в котором белый световой треугольник дублируется своей лживой имитацией, фантомом, выстроенным якобы вверх от одной из точек основания вершины черного треугольника, не совпадающей с вершиной треугольника света. Таким образом, прямой вход в Традицию часто не приводит человека никуда, кроме как к поклонению завуалированному темному началу — «злому демиургу», который выдает себя за истинного Бога. «Злой демиург» напоминает «Креатора» из песен Мальдорора, описанного как огромный червь-вампир Лотреамона, питающийся человеческими молитвами, надеждами, подношениями, жертвами, слезами и муками, пожирающий всё то, что ему приносят, в том числе человеческие жизни, для того, чтобы продолжить свое узурпаторское существование. Барбело-гностики называли эту фигуру «Аутадом» — «Самодовольным» или «Самодостаточным» — тем, *кто выдает себя за истинное Божество, но таковым не является*, а только поглощает все энергии существ, душ, страстно ищущих возврата, но не могущих его отыскать.

Гностическая модель характерна как раз тем, что между реальной световой страной (плеромой), и человеческой экзистенцией обнаруживает почти *непроходимую стену*, и из-за это стены

привычные конвенциональные способы стяжания спасения не действуют. Эта стена есть темный двойник настоящей сакральности, некая псевдо-церковь. Это -- дубль подлинной религии, поэтому острота альбигойских выступлений, да и вообще движений, имеющих в себе гностические элементы, была направлена, в частности, против католической церкви, которая рассматривалась именно как *псевдо-церковь*, как стена, как подмена, как узурпация реальной сакральности, а настоящая сакральность постулировалась *по ту сторону*. Разрыв мыслился фундаментальным и радикальным.

Различные формы гностицизма на тысячи ладов повествовали об этой *потерянности*, о невозможности спасения и интеграции в светлый треугольник из-за специфических, аномальных, эсхатологических условий. Об этом гностическом настрое я говорил в разных книгах (3). В частности, у барбело-гностиков речь идет о создании и сложной эволюции световой плеромы, о падении высшей сущности Пистис София из тринадцатого высшего эона во внешние сумерки – мимо множества причудливых этажей эонов и их архонтов, о соответствующих страданиях человеческой души, отделенной карцером особых эсхатологических условий от возможности реинтеграции (плачи Пистис Софии) и т.д.. В этом пронзительном чувстве отчаяния угадываются те же мотивы, которые составляют нерв философии или теологии богооставленности конца XIX – XX веков.

Русское старообрядчество и сужение благодати

В своих исследованиях гностицизма я обнаружил на нашей русской почве явление метафизически, — подчеркиваю, не исторически и не генетически, — крайне близкое к этому гностическому мировоззрению. Речь идет о старообрядчестве, и особенно -- самых крайних беспоповских направлениях и согласиях — о бегунах и нетовцах. Старообрядческое движение и в целом гораздо болезненнее,

чем современная РПЦ переживает приближение к финальной точке цикла, но самые радикальные метафизические выводы мы находим у беспоповцев крайнего толка — бегунского, или страннического, согласия, у последователей старца Евфимия и у представителей Спасова согласия, которые называются нетовцами именно потому, что утверждают, что *Церкви* (белый треугольник в фигуре «П») *больше нет*. И как жить людям, которые живут *только* Церковью (верой, духом) в ситуации, когда Церкви нет?..

«Бежите от тьмы сей Вавилона»

Точно так же и с бегунами: бегуны говорили о таком *сужении* божественного присутствия, церковной благодати, что часть таинств церковных упразднилась — остались только таинства покаяния и крещения (у самих бегунов). По большому счету, само существование бегуна состояло в постепенном драматическом отслоении дублей от того, что представляло для бегунов истинную Церковь и возможность спасения. Мало того, что, в согласии с общей православной практикой, отвергается и отслаивается западная католическая традиция, мало того, что отвергается греческая церковь, мало того, что в рамках общего старообрядческого подхода (старообрядческой эkkлесиологии) отвергается возможность спасения внутри Русской Православной Церкви -- бегуны шли еще дальше, дальше других по пути осознанности *сужения благодати*, упрекая в отступничестве, в апостасии, в том числе и *другие старообрядческие согласия*, радикализируя свои требования, пока, наконец, в умалившемся до бесконечной малости пространстве бегунства не сложилась уникальная атмосфера *предельного* духовного напряжения при предельном отрицании внешней среды.

По сути дела, бегуны и есть представители нижней точки «Парадигмы», где конус белого цвета сужается до такой степени, что

он *больше неразличим* в общей тьме Вавилона. Почему — «бегуны»? И не случайно важнейшей формулой Страннического согласия было: «Бежите от сей тьмы Вавилона».

«Титин потрясает вельми»: отслоение антихриста

Следы подхода к этой парадоксальной ситуации видны в самом стиле бегунских текстов. Например, один из подзаголовков основной книги старца Евфимия называется «Титин потрясает вельми»... Вслушаемся в эту фразу: «*Титин потрясает вельми*»...

Кто такой Титин? Титин – это «бес преисподней». Он действительно *потрясает* («вельми» – по старо-славянски «очень»). Евфимий пишет: «Разумный антихрист, умный антихрист, сиречь Титин, бес преисподнии. Умный зверь.»

Или как сказал другой представитель бегунского согласия безденежник Иванов, в ответ на замечание других, более умеренных старообрядцев «что вы всё об антихристе да об антихристе»: «А у нас вся вера в антихристе состоит». Это не значит, естественно, что бегуны «верят в антихриста» как в Бога, наоборот, самая главная задача в теологии и духовной практике бегунов – это «*отслоение антихриста*», распознание его печати, его присутствия даже в тех реальностях, которые выдают себя за что-то другое...

Лев Христос, но лев и антихрист

Обратите внимание на ещё одну фундаментальную излюбленную цитату бегунов: «*Лев Христос – лев и антихрист*». Символ льва

прикладывается ко Христу Спасу, но прикладывается также и к Его противнику – антихристу. *Антихрист становится фундаментальной фигурой в богословии радикального старообрядчества.* Возникает целая «иерархия антихристов». В частности, есть такое понятие как «духовный антихрист» («разумный антихрист», «умный антихрист», «умный зверь») -- это то воплощение, та сторона антихриста, которая присутствует не в физическом лице, не в воплощении какой-то конкретной личности, а в качестве *тонкого покрывала, наброшенного на современный мир.* Этот «духовный антихрист» бегунских трактатов очень близок по своей феноменологии в описаниях бегунских трактатов к тому, что Генон подразумевает под антитрадиционными или контринициатическими *влияниями.* Это -- тонкое *присутствие,* примешанное к каждому событию нашей обыденной жизни и что-то непонятное, но страшное проделывающее со смыслом тех вещей, к которым мы прикасаемся, отрывающее вещи от их корней (как демоны каббалы, «опустошители садов», которые отрывают деревья от их корней -- деревья в райских садах, как известно, растут *корнями вверх* и поэтому отрываются от небесной почвы).

Иерархии мрака: социология бегунов

В высшей степени показательна *антропология бегунов.* В стремлении отделить светлое от темного в ситуации, когда светлое от темного *уже неотделимо* и неотлично, когда все *формальные* признаки уже растворились, возникает удивительный творческий порыв к созданию крайне мрачной фундаментальной антропологии, напоминающей мамлеевские рассказы. Вот например такой вывод делает старец Евфимий в своём сочинении относительно толкования 37-й главы Апокалипсиса: *«возглаголют образы и телеса демонскими и трупы мертвыми».* Это описание того, как «сатана даст дух телу звериному». И далее старец Евфимий разъясняет, кто такие 1) *«иконы сатанинские»*, 2) *«телеса демонские»* и 3) *«трупы мертвые».*

Возникает особая иерархия, особая система бегунской, страннической социологии, которая делит современное Евфимию русское общество на эти три категории: «Сия демонские телеса достоит духовную власть разумети, зане у Господа служебные дуси светлы, а у антихриста же дияволя сии дуси темни». То есть «демонскими телесами» называется нестарообрядческий *клир* — высшая каста темного перевернутого мира.

«Иконы сатанины» суть *власть гражданская*: «У нее же власы яко у самого того, такоже дыбом подышеша аки от ужаси адских мук и змею назади привязану имущу ею же он возглаголе». Это описание дворянина XVIII века с поднятыми завитыми волосами, которые напоминали старообрядцам «шиши» — прическу бесов (бесов изображают обычно с поднятыми, как у панков, от ужаса волосами), а сзади дворяне привязывали веревочку, опознанную Евфимием в качестве змеи, от имени которой и действует эта «кадровая»⁽⁴⁾ власть.

«А еже трупы мертвыми иматъ глаголати ... весь общий народ его *потребно разумети*». Т.е. всё остальное — не духовное сословие и не светская аристократия -- воспринимается в этой антропологической картине как «*мертвые трупы*». «Понеже егда человек отлучится от здравого учения Христова, тогда мертв глаголится быти». Евфимий продолжает эту тему превращение людей в нелюдей, в пустоту, цитируя и комментируя пророка Исаию: «Исаия во Иерусалиме: И не бе человек. Звах и не послушати хотяи. И zde святые не суть человек сказует бытии, идеже не жительствоуют по воле Божии. И по сему яве назнаменася пустота, точию едино трупы мертвые, из них же смрад».

Так возникает социологическая модель какого-то перевёрнутого мира, который весь основан на дубле, на шаржировании, *на утверждении того, чего не должно было быть как то, что единственно есть*. И дальше он приходит к мысли, к которой пришли очень радикальные французские философы XX века, которые мыслили и жили в условиях теологии богооставленности, в частности Антонен Арто, который говорил: «У меня такое впечатление, что среди людей, которые находятся вокруг меня, людей-то очень немного». И в том же самом

ключе выражается старец Евфимий: *«Соберет Титин бесы во образе человек»*. О том же писал и Иосиф Волоцкий: *«Тако диявол невидимо всилися в них, но видимо уже убо всеми действует волю свою в них, яко хочет»*.

Соответственно классическая антропологическая картина фундаментально мутирует. Мы оказываемся в обществе, где сословия, касты, институты и существа выдают себя за одно, но таковыми отнюдь не являются.

Эта модель антропологии описывает ситуацию того мира, в котором рождается явление «постметафизики» и Радикального Субъекта.

Петр как антихрист

Ну и последнее, что я хотел бы о Евфимии сказать. Антихрист для бегунов получает конкретное воплощение в фигуре Петра Первого. Оснований для этого множество, в частности, старообрядцы считают, что именно Пётр *«разделил надель»*, дав *«своё»* и *«моё»* людям, создал систему обладания землями и товарами (частной собственностью) и осуществил чисто антихристово разделение единой общности русского народа на отдельные частные ячейки. Частная собственность бегунами, как позже Прудоном, воспринимается как выражение *«абсолютного зла»*.

Подтверждается антихристова природа Петра Евфимием ещё и такой фразой из Кирилла Иерусалимского: *«Ибо во имя Симона Петра сести иматъ гордый князь мира сего Антихрист»*.

Петр творит страшные дела: *««Егда бы оныи император умысли ельинския, и латинския, и прочия языческия законы устаменяти, яко се: брады брители, платье немецко насити, власы растити и плести косы, баньты привязывати, пучки связывати, петли на шеях имети, пукли*

завивати, и алаверш салом намазывати, и мукою главу припутривать, и табак носом пити, и за губу валити, и устами его курити, и со псы из единых сосудов ясти, и всякую давленену и звероядину употреблять, и прочия тако поганска деяти, а древняя останки благочестных обычай до конца истребити. (...)

И состави Синод. Четырех эксархов в таковое присутствия тогда избра, папезского оторода сущих, обливанцев и табашников, и усоподсекателей»

Чёрные чудеса

Любопытно, что Евфимий видит вокруг *чёрные чудеса* (об этом применительно к постмодерну мы говорили во второй главе этой книги).

«Так везде, -- он пишет, -- в Великороссийском державствии он, последний антихрист, с мечтанием бесовским преудивительная чюдеса присно творити обыче, иже в комедиях и паратах и в прочих потешных строях бываемая, елико в чюдо и удивление приводити прельщенныея». Дальше вместе с парадами и другими увеселениями городскими -- как «явными знаками чудес антихриста» -- приводится Евфимием сам факт наличия «чудес» в никониянской церкви, что становится «контр-чудом» в одном ряду с парадами и другими увеселениями.

Что такое бегунская теология, бегунская антропология и бегунская социология? Я полагаю, что мы подходим здесь к описанию -- причём к описанию глубоко консервативным сознанием, укоренённым в верхах светового присутствия -- тех эсхатологических условий, которые наступают *в момент достижения нижней точки*. И здесь мы вплотную приближаемся к догадке о Радикальном Субъекте.

Парадокс точки света на линии тьмы

Давайте продолжим геометрическую аналогию. Если точка света в последний момент неотделима от прямой линии тьмы и представляет собой *бесконечно малое явление*, то мы (и никто вообще) не можем быть уверены, что *эта точка* является точкой света, а рядом с ней находящаяся является точкой тьмы. На всех других уровнях вплоть до достижения этой последней инстанции циклического развития, на всех остальных этапах такой вопрос не стоит, вся метафизика, вся человеческая мысль, вся духовная практика, всё напряжение экзистенциальных усилий направлены однозначно к свету, так как свет очевиден (пусть и трудно доступен). Понятно, что трудно преодолеть тьму, трудно приблизиться к свету, но нигде и никогда не стоит вопрос, что такое тьма и что такое свет, потому что это практически везде является данностью, везде, *кроме единственного момента*. И вспомним слова Хайдеггера, что «в последний момент космической полночи человечество настолько привыкает к этим ночным условиям, что забудет, что такое свет». Оно уже просто не понимает, когда ему говорят: «вы знаете, на дворе ночь». «А что такое не-ночь?» – спрашивает человечество, потому что ночь – это день для этого человечества, потому что *ничего кроме ночи у этого человечества нет*.

Принципы исчисления бесконечно малых

И в этот момент возникает некий очень тонкий элемент, который описан в книге Рене Генона «Принципы вычисления бесконечно малых». Наверное, многие традиционалисты и люди, которые изучают религии, думают, зачем же этот замечательный знаток традиционных религий, символизма написал книгу с таким удручающе скучным названием? Книга, на самом деле, является абсолютно ослепительной

и обязательной, поскольку *ставит проблему метафизики предела*, и даже если не говорит о фундаментальном подходе к новой метафизике, то, по крайней мере, готовит ту концептуальную базу, которая позволяет нам думать в этом направлении.

Дело в том, что согласно Генону, с точки зрения аналитической логики как в парадоксе Зенона Элейского, предел, к которому стремится какой-то процесс, например, объём треугольника, нисходя к точке, практически *недостижим*. Это фундаментально. Какой бы малый объём этого треугольника мы бы ни взяли вблизи этой точки, всё равно это никогда не будет точкой, потому что есть ещё более маленький треугольничек, который будет всё равно треугольником, но *никогда не будет точкой*.

И тот принцип, на котором основана лейбницевская математика, которой нас обучают в школе и институте: $\lim X$ при X , стремящемся к $1 = 1$ – это на самом деле просто указание *на возможность пренебречь погрешностью*. Иными словами это равенство не математическое утверждение строгого *тождества*, а предложение проигнорировать в ходе конкретных физических измерений небольшую погрешность. На самом деле, *в момент приближения процесса к точке предела возникают такие математические, физические, онтологические, метафизические явления, которые существенно меняют всю структуру онтологии*. Это напрямую касается тематики, о которой мы говорим.

Дело в том, что деле предел умаления этого треугольника *недостижим*, но, тем не менее, логика подсказывает, что этот предел существует, и в какой-то момент точка, которую мы постулируем теоретически, должна стать реальностью, потому что она концептуально и логически присутствует, хотя достичь её аналитически невозможно.

Догадка о Радикальном Субъекте

Здесь возникает тот феномен редублиции, которому посвящена наша лекция и который так заботил сознание как гностиков, так и русских радикальных старообрядцев. В мире бесконечно малых, когда точка предела исторического цикла *почти* достигнута -- но никогда не достигнута до конца! -- возникает уникальное пространство для принципиально иного подхода ко всем этим процессам. Здесь рождается *догадка о Радикальном Субъекте*.

Эту категорию, Радикальный Субъект, предлагаю не соотносить ни с какими религиозными образами, ни с какими фигурами классического традиционализма именно потому, что это травматический участник процесса абсолютно неопределённого, не конвенционального, находящегося в каком-то смысле за пределами или на крайней периферии традиционной метафизики.

Радикальный Субъект – это, по сути, нижняя крайняя точка «Парадигмы», которая воспринимает себя не как бесконечно малый световой треугольник, а просто как «*белую точку*» и всё. Точку абсолютно на сей раз *неотличимую* от бесконечного количества точек, формирующих чёрное дно исторического процесса. Но тогда вы с полным основанием спросите меня: «А почему эта точка *белая*? На каком основании, если она отказывается быть бесконечно малым треугольником, более того, не апеллирует к этому бесконечно малому треугольнику?» И вот здесь возникает совершенно *новый мир*, мир не делящийся, не могущий находиться во времени, мир специфической рефлексии, возможной и закономерной исключительно в один момент космического цикла. Всё, что было раньше и всё, что будет позже (если что-то будет позже), в принципе, не имеет большого значения перед лицом этой фундаментальной проблематики, абсолютно опрокидывающей традиционные представления о метафизике.

Переворот

По сути дела Радикальный Субъект – это, осторожно скажем, фигура, которая утверждает своё *абсолютное, радикальное отличие от нижней линии тёмного треугольника*. Но при этом эта фигура *не имеет онтологических доказательств* того, что она является именно *белой* точкой, т.е. точкой, которая является вершиной светового *треугольника*. Эта точка, *может быть*, является вершиной треугольника света, поскольку фигура Радикального Субъекта это декларирует, но, может быть, и *не* является... И, как вы сами понимаете, такого рода заявление чревато таким фундаментальным метафизическим риском, таким революционным переворотом в онтологии, что ставит множество проблем. Это уже нельзя назвать онтологией, это нельзя назвать метафизикой, это нельзя назвать теми образами из классических религиозных мифов, которыми привыкло оперировать человечество. Они применимы ко всем другим ситуациям кроме этой критической ситуации. И поэтому сознание мыслителей, так или иначе затронутых теологией богооставленности, стремится найти новые формулы.

Сверхчеловек

В частности, формула «Сверхчеловека» у Ницше – это попытка описать Радикального Субъекта, попытка схватить эту уникальную реальность. Это и не прямой традиционализм, и не сверхгуманизм, это абсолютно иной ход, интуитивно ищущий прорыва в парадоксальную и страшную сферу новой метафизики. Поэтому Ницше на весь XX-й век предопределял философское сознание человечества. Но эта рефлексия прошедшего века практически ничего не обнаружила у Ницше главного. Его тома открыли, полистали сто лет и закрыли, а проблема Сверхчеловека, проблема трагического предельного ницшеанского космоса, неразгаданного ницшеанского мира осталась

не тронутой, девственной. Поэтому Ницше и говорил о «Так говорил Заратустра», что книга «для всех и ни для кого».

Чёрный двойник

Вернёмся к нашей точке, которая так fasciniрует наше сознание. Дело в том, что если эта точка не имеет никаких *доказательств* того, что она является вершиной светового треугольника, но, тем не менее, на этом *настаивает*, возникает фундаментальная возможность *раздвоения*, возможность дубля, поскольку *другая точка*, находящаяся на той же самой линии, так же имеет (или не имеет) основания претендовать на провозглашение себя этой вершиной, поскольку доказательного онтологического момента нет ни там, ни там. В связи с этим возникает то явление, которое можно назвать *метафизическим дублем*.

Тематика дубля, двойника, тени является вообще фундаментальной тематикой духовного мира созерцания. У гностиков она достигает уже полной отчётливой, может быть даже чрезмерно отчётливой формализации, когда гностики утверждают, что есть один мир, одна церковь, одно человечество, которые являются тёмными и поддельными, и есть где-то другое человечество, другая церковь, другой мир, другой дух, которые накладываются на этот мир, не смешиваясь с ним, и они-то как раз подлинные. Таким образом, проблема дубля выходит на передний план у тех учений, которые наиболее пронзительно воспринимают тему эсхатологии, конца времён.

Метафизика вампиризма

Очевидно, что Титин, этот бес преисподней, который потрясает нас вельми, особенно опасен в рамках христианского мировоззрения, поскольку он -- дубль, поскольку он претендует на копию, поскольку он *анти-Христ*, ведь сказано: «Лев Христос, но лев и антихрист».

Эта тематика дубля, тематика раздвоения по большому счёту становится центральной по мере того, как мы приближаемся к этой нижней точке «Парадигмы». И чем ближе мы к этой точке, тем серьёзней и фундаментальней проблематика дубля, а вот в самой этой точке она становится главной и центральной. И здесь я бы хотел высказать следующее подозрение. Тематика вампиризма, которая сегодня фасцинирует наше общество и нашу культуру, в своих метафизических корнях уходит именно в эту идею *метафизического риска дубля*. С одной стороны понятно, что вампиры – это образ тех, кто высасывает из светового треугольника его энергию в пользу тёмного, т.е. это тоже метафизический образ и он, действительно, крайне актуален: вампиризм – это одно из основных свойств современной культуры, современного социума, где тёмные инстанции высасывают из людей деньги, силы, ум, талант, время, мысли, внимание, удивление, желание, психику. Но гораздо важнее, что в метафизической проблематике тематика вампиризма приобретает характер дубля, поскольку *кто-то один пьёт кровь кого-то другого*. Антихрист питается кровью своей антитезы. *Один лев пьёт кровь другого льва*.

Вампиризм как форма дубля и свободного двойника становится важнейшей метафизической проблематикой эсхатологического контекста.

Теперь обратите внимание, в чём заключается парадокс: в том, что Радикальный Субъект, который является одной уникальной точкой из бесконечного множества столь же *необоснованно*, столь же *произвольно*, столь же *волюнтаристски* утверждает свою специфику, как и те, кто ему подражает, как и его дубли. И к тому и к тому можно

применить очень сходную систему определений, грань между этими явлениями очень проблематична, очень размыта и очень неочевидна. Если бы это было не так, то драма эсхатологической битвы, эсхатологической метафизики не имела бы большого смысла.

Радикальный Субъект и антихрист

Православная традиция, православная метафизика очень не любит -- в отличие от католической -- уподоблять антихриста и Христа, сопоставлять их, говорить об их симметрии, напротив, здесь всячески подчёркивается асимметричность Христа и антихриста. И не смотря на то, что есть определённое стремление дьявола или сатаны имитировать божество, но вот идея того, что антихрист будет подражать Христу, не сильно акцентирована, хотя бы потому, что мы, православные люди, ожидаем Христа во славе, на облацах, а антихрист рождается как человек, как сын погибели, не смотря на то, что вбирает в себя силу и мощь других, более фундаментальных онтологических дьявольских реальностей.

Мое утверждение в пространстве «новой метафизики» состоит в том, что *если Христос и антихрист не симметричны, то Радикальный Субъект, о котором мы говорим, и антихрист, вот они-то действительно симметричны*, и между ними происходит то фундаментальное напряжение проблемы, тот накал метафизического напряжения, которое составляет самый тайный и самый глубокий нерв современной онтологии и современной циклической реальности. И именно эта пара должна быть определённым образом разрешена, должна быть осмыслена, должна быть прочувствована, поскольку и тот, и другой представляют собой эпифеномен предельной формы эсхатологической апокалипсической реальности, в которую мы по уши погружены.

Когда программа модерна исчерпана

Несколько слов о постмодерне. Предшествующие лекции в этом цикле были посвящены ситуации постмодерна, и я не случайно так подробно и настойчиво обращал внимание людей, которые следят за дискурсом «Нового Университета», на эту проблематику, поскольку в именно постмодерне складываются те условия, которые опрокидывают наши представления (как традиционалистские, так модернистские) об устройстве бытия. Между современным миром Нового времени и традиционным обществом, миром традиции существует довольно понятная, хотя и обратная взаимосвязь. Этим мы занимались на протяжении предшествующего цикла лекций «Нового Университета», об этом дуализме между традиционной цивилизацией и цивилизацией современной постоянно пишут Генон, Эвола, Титус Буркхардт и остальные. Действительно, современная цивилизация – это отрицание традиционной цивилизации, и любой тезис Традиции в современности, в модерне дублируется или кроется антитезисом, и между ними есть определённая симметрия. А вот *постмодерн выпадает из такой ситуации.*

Чему можно уподобить современный мир на фигуре «Парадигмы»? Современный мир и всё, что в нём есть сугубо современного, отточено, внятно, осознанно современного – это *тьма*, потому что по мере того, как что-то становится всё более и более современным, оно, с точки зрения Традиции, становится всё более и более чёрным. Сама же Традиция – это треугольник *света*. И чем ближе Традиция к основанию светового треугольника, чем дальше она от современности, чем она более архаичная, тем ближе она к райским истокам и тем она *светлее*. Т.е. пока мы не доходим до этой предельной низшей точки, актуален дуализм -- Традиция/современный мир -- в любых пропорциях (кто-то за современный мир, кто-то, в последние времена меньшинство, за Традицию). Маленький световой треугольничек становится всё меньше, и меньше, и меньше, и *нормальных* людей точно так же меньше и меньше, а других людей, *современных*,

наоборот становится всё больше, и больше, и больше... И это бы всё ничего, но постмодерн – это ситуация, когда традиционного общества уже *настолько* нет, что и программа модерна как его антитезы тоже исчерпана. И в этих уникальных условиях, которые являются новыми и неожиданными даже по отношению к современному миру, и происходит это фундаментальное рождение Радикального Субъекта, равно как и возникновение его *дубля*.

Космическое яйцо открыто снизу

У Генона можно найти некие аналоги этой реальности, он, в частности, описывает три состояния *космического яйца*. В нормальных традиционных эпохах космическое яйцо открыто сверху, и небесные энергии проникают в мир, превращая вещи и людей в символы, в инструменты духовных энергий. Потом яйцо мира закрывается сверху, и возникает эпоха классического модерна, материализма, атеизма, прагматизма, это, в общем, и есть абсолютно чистый модерн – отрицание трансцендентных измерений в мире, позитивизм, Конт. В конце времен Генон предвидит *открытие яйца мира снизу*, когда материализм заканчивается, и в мир начинает бить поток нижних энергий, т.е. тех самых бесов в образе людей, о которых говорит Евфимий, когда гоги и магоги вселяются в людей, в нас, в наших друзей, в наших родителей, соучеников, коллег по работе и эпизодически косят на нас своим безумным взглядом. И нам становится страшно от наших ближних, от самих себя... «Люди ли они?» -- задаём мы себе иногда вопрос, а потом глядим в зеркало, - «А мы?..»

В этом смысле антропология постмодерна и ситуация постмодерна безусловно связана с образом Великой Пародии, то, что Генон называл открытием яйца мира снизу. И в эпоху этой Великой Пародии, в ситуации вторжения орд гогов и магогов, орд подтелесных существ в

нашу реальность происходят разные «парады», как писал Евфимий, другие увеселения театральные, лекции и прочие сомнительные с точки зрения традиционного человека события. Люди начинают одеваться странно... Это признаки вторжения.

Дыхание Титина

Так в чём же, собственно говоря, нерв постмодерна, этих условий абсолютной тьмы? Действительно, в ситуации мрака какие-то части или фрагменты этого мрака начинают восприниматься как световые кометы, как звёзды, как уличные фонари, как абажуры, и возникает произвол дубля, поскольку в условиях отсутствия световой линии, оси, меры, с которой можно было бы соотнести происходящее с нами, вокруг нас, всё что угодно может представить себя за эту линию, ось и меру. Всё что угодно начинает выдавать себя за критерий, выдавать себя за судью, за шкалу, за универсальный эквивалент. Таким образом, тематика дубля затрагивает не только сакральность и пародию на неё, но и те вещи, те фундаментальные и самые неразмываемые, самые последние норы метафизического существования, которые связаны с «новой метафизикой». И чем глубже острота проблематики «новой метафизики», тем ближе дыхание Титина к ней, и тем страшнее и опаснее зона в окружении тех существ или тех организаций, которые двигаются и мыслят в этом направлении.

Но сила Великой Пародии *не своя*. О обратим внимание на высказывания Генона относительно чистого количества: «чистое количество само по себе невозможно». Оно не может само по себе породить пародию Чистое количество есть тенденция спуска, это негативное мерцание вещи, или как говорили Святые Отцы – зло есть не самостоятельная реальность, это «*умаление добра*». В чистом виде количество, которое захлёстывает человечество даже не так опасно, оно становится опасным тогда, когда это *количество похищает*

световые эйдосы, световые энергии метафизики, и особенно и уже финально, решаяще опасным оно становится тогда, когда создаёт дубль Радикального Субъекта и новой метафизики.

Традиционализм в эпоху постмодерна

Теперь можно рассмотреть вопрос, на который, кстати, некоторые мои последователи давно пытались меня подбить, чтобы я поднял эту тему. Уже скоро два десятилетия, как я избегаю это делать. Сейчас я считаю, что её можно ее поднять – это проблема *традиционализма в эпоху постмодерна*, в эпоху Великой Пародии. Дело в том, что критика современного мира со стороны традиционализма – это вещь вполне логичная и когерентная, она представлена традиционалистской школой и на сегодня свою программу завершила. Это безукоризненная позиция Генона, Эволы, Буркхардта и других традиционалистов. Но изменение онтологических условий ставит задачу *переформулирования традиционализма* в эпоху принципиально новую эпоху, с иными онтологическими векторами. Сегодня простое и прямолинейное воспроизводство тех традиционалистских рецептов, с которыми мы имели дело, когда модерн только кончался, но ещё не кончился, уже само по себе превращается в нечто странное, во что-то не то... И наоборот, то, что было маргинальным и странным в традиционализме, в частности, замечательный Жан Парвулеско, становится сегодня, в эпоху Великой Пародии, пожалуй, наиболее актуальным и центральным.

Горизонт – новая метафизика

Я бы хотел сформулировать тезисно несколько задач традиционализма в эпоху Великой Пародии.

Я глубоко убеждён, что должен произойти переход и фундаментальный сдвиг к фиксации на теме Радикального Субъекта и на эсхатологической проблематике. Без этого любое рециклирование традиционалистского дискурса приведёт нас в к какому-то телевидению, к какой-то совершенно не ценной и даже двусмысленной вещи. Это первое. Необходимо фиксироваться на новых горизонтах новой метафизики.

Риск

Второе. Необходимо делать это на свой страх и риск, т.е. как бы в отрыве от белого треугольника. Скромность традиционализма в эпоху постмодерна, а традиционализм – всегда очень скромная реальность, должна заключаться в том, что, действительно, мы *не можем кичиться и бравировать принадлежностью к Традиции*. Вернее мы можем принадлежать к Традиции или думать, что принадлежим, но мы не вправе, строго говоря, это декларировать даже перед самими собой. Мы должны *отстаивать позиции Радикального Субъекта даже в том случае, если у нас нет никакого ни внешнего, ни внутреннего подтверждения того, что мы имеем на это хоть какое-то основание*. Иными словами, речь идёт об абсолютно волюнтаристическом акте. Если вы внимательно следили за тем, что я говорил, то вы понимаете, на грани чего мы в таком случае оказываемся... В этом нерв. В этом и риск. «Ведь Лев Христос, но Лев и ...» -- сами понимаете кто...

Слово и постмодерн

Дальнейшая задача – это облечь систему новых метафизических интуиций в терминологию, в слова. Мы знаем, что слово в Традиции играло фундаментальную роль. Слово было само по себе неким сгустком духа, к которому тянулось множество вещей из реального мира и растворялось в нём. Слово было первичным, и к нему тяготели, стремясь раствориться в нём, интегрироваться в него предметы и явления.

В модерне слово утратило эту сакральную теургическую нагрузку и стало наоборот притягиваться к конкретике материальных вещей. Идеально для позитивизма было бы, чтобы одному слову соответствовала только одна вещь. Это и есть понятие точности. Традиция не знает точности, в Традиции всё приблизительно. Эта приблизительность, эта расплывчатость – это специфика наличия *живого духа*, который веет в слове, но, вместе с тем, это оперативная расплывчатость, которая снимает тяжесть существующей вещи.

В модерне наоборот вещь начинает доминировать, и каждой вещи соответствует какой-то один чёткий термин, *одна вещь – одно слово*. Идеальная точность достигается в названии каждого предмета нумерическим кодом: это предмет № 4855, это предмет № 8966... И, таким образом, предел языка модерна достигается в штрих-коде.

Но что происходит со словом в эпоху постмодерна? Слово вообще освобождается от вещи, а вещь от слова, уже слово не означает никакой вещи, ничего не спасает и ничего не возвышает, не растворяет и не интегрирует, но, с другой стороны, оно не соответствует никакой вещи, слова существуют отдельно от вещей, а вещи от слов.

То, что мы слышим и говорим, вообще не имеет никакого отношения к реальности, а реальность никакого отношения к словам. Собственно говоря, это растворение уже третьего уровня, деградация соотношения слова и вещи, даже уже не деградация, а некоторая экстравагантная контр-позиция слова и вещи, которая и является привилегированной

стратегией и одновременно стихией «разумного антихриста». Это «ванна антихриста» – доминирующая бессмысленность дискурса и свободный поток льющихся на нас многомерных вещей, как писал Бодрийяр, которые постоянно подмигивают и пытаются выполнить дополнительную функцию: например, зубочистка становится одновременно расчёской, зубная паста – маленьким зеркальцем, её можно одеть в качестве украшения. Полифункциональность вещей и одновременно полная бессмысленность того, что мы выслушиваем и читаем, рождает бульон, в котором присутствует разумный антихрист, он, собственно говоря, его и наводит.

Антихрист имеет самое непосредственное отношение к языку, как, кстати, к языку имеет самое непосредственное отношение и Радикальный Субъект. И тот и другой *живут в языке*, живут немножко *сходно*, но фундаментально *по-разному*. Поэтому антихрист кроме «разумного», как у бегунов, может быть назван «словесным», «словесный антихрист». И не случайно Слово, язык в Апокалипсисе изображается в виде меча, исходящего из уст Христа. Здесь проходит фундаментальное напряжение в пространстве языка, которое в эпоху постмодерна приобретает особое значение.

Умное побеждается только умом, духовное побеждается только духом, словесное – только словом, и в этом лежит как тёмная, так и светлая тайна нашего времени. И если мы сможем понять эту тёмную и светлую тайны наших эсхатологических сумерек, если мы распознаем их, если мы их *назовём*, если мы их сформулируем, мы, дай Бог, уготовим пути нисхождению Небесному Иерусалиму.

Сноски:

(1) Кузанский в 10 Главе «Единство и инаковость» своего труда «De coniuncturis» (1443) так толкует эту фигуру «Парадигма» или кратко фигуру «П»: «... Бог, будучи единством, представляет собой как бы основание [пирамиды] света; основание же [пирамиды] тьмы есть как бы ничто. Все сотворенное, как мы предполагаем, лежит между Богом и ничто. Поэтому, как ты наглядно видишь, высший мир изобилует светом, но не лишен тьмы, хотя тьма кажется исчезнувшей в свете из-за его простоты... В низшем мире, напротив, царит тьма, хотя он не совсем без света; однако фигура обнаруживает, что этот свет во тьме скорее скрыт, чем проявлен. В среднем мире соответственно средние свойства...»

(2) Эта тема рассматривается в последних главах моей книги «Постфилософия»

(3) См. «Пути Абсолюта» («Абсолютная Родина») глава «Эсхатологический гнозис», «Постфилософия» -- глава «Учение о Радикальном Субъекте», «Философия традиционализма» -- глава «Истоик великого зла», «Тамплиеры пролетариата» -- «Гностик» и т.д..

(4) См. главу «Кадровые» в «Русской Вещи».

Глава 5. НОЧЬ И ЕЕ ЛУЧИ

La vie est comme un arbre, et comme le vent va le temps,

*Mais l'arbre se dépouille, car rien n'arrête le vent
d'autan.*

Comme l'aube du jour où le soleil sans se coucher reluit,

*Qui va contre le jour ne doit pas toutefois craindre la nuit
!*

Гонзо-метафизика

То, чем мы занимаемся, можно назвать *гонзо-метафизикой*. Известна форма гонзо-журналистики, которой, например, занимался Хантер Томпсон, автор книги «Страх и отвращение в Лас-Вегасе». Гонзо-журналистика подразумевает вовлеченность журналиста в то, что он описывает. В нашем же случае можно говорить о вовлеченности в то метафизическое, о котором у нас идет речь.

Банальность как худшее из плохого

Актуальной целью гонзо-метафизики является реабилитация ночи, а также ее свиты, ведь ночь никогда не приходит одна, она всегда тянет за собой целую цепочку явлений и смыслов. Сегодня мир во всех его наиболее честных и приличных проявлениях, таких, например, как сакральность или природа, безнадежно тонет в болоте банального. Ничто так не вредит сочной, настоящей, бытийной реальности, как человеческая банальность. И пожалуй, банальность приведет человечество к краху. Ни авангардные, безумные эксперименты, ни воплощение диких идей в жизнь, ни даже технический прогресс, который создает всё новые и новые средства для уничтожения человечества, но простая человеческая банальность. И кажется, что тем силам, которые движут миром, просто станет настолько скучно от созерцания человечества, что они плюнут на всё — и проект будет закрыт.

Спасение ночи

Как возникла идея реабилитировать ночь? От чего мы должны спасти ее? От *банального*, поскольку банальное собирается расправиться с ночью. По сути дела, банальное уже похитило у нас ночь.

Когда мы говорим «ночь», то сразу вбрасываем это понятие в садический кабинет, где над ним проводят эксперимент два явления. Во-первых, это остаточный морализм. Наш рассудок подсказывает: ночь — это что-то связанное с плохим, с темным, со злым и страшным. Конечно, современный человек абсолютно аморален, но какие-то рудименты риторики добра и зла, плохого и хорошего он еще сохраняет. И когда мы говорим о ночи в этом контексте, то *ночь прячется от нас*, увидев моральный штамп, который абсолютно ничему не соответствует и не вытекает не из какой полноценной религиозной или этической системы, и соответственно, *ночи нет рядом с нами*.

Вторая возможность мизинтерпретации ночи состоит в ее ассоциировании с понятием, в котором сильны следы висцерального гедонизма с эротическим и дипсоманическим оттенком. Сразу вспоминаются расхожие вроде -- «провести ночь с кем-то». Также нас настигает привычка к регулярной алкогольной интоксикации, напоминающая о себе ближе к вечеру каждому пьющему: «Ну, теперь уже можно, дела закончились, теперь близится ночь и можно начать к ней готовиться», то есть наливать. Иногда эти дипсоманические и эротические элементы, хотя и необязательно, пересекаются. Тогда возникают планы пойти в дискотеку, прогуляться по барам, нездоровое оживление после работы или иные проявления угасания собственного “я”, тянущегося к гедонической стихии сомнительного комфорта.

Тегеранская ночь

Я недавно был в Тегеране и поразился тегеранской ночи. В ней отсутствует и тот, и другой компонент. Там не существует ни дипсомании, ни аффектированного открытого эротизма.

Тем не менее ближе к ночи 15 миллионное население Тегерана, огромного одно- двухэтажного, раскатанного в предгорьях Эльбрусского хребта города, оживает, и иранцы выкатывают на улицу. Они идут в ночь, идут взаимодействовать с ней.

Но нет баров, нет проституток, нет даже той восточно-кавказской похабщины, которая встречается иногда днем. И тем не менее молодые и не очень молодые люди Тегерана начинают сновать по улице.

Что они с ночью делают? Они не едят, не пьют, не ходят в бары, на дискотеки, но город оживает. Я заметил, куда уходит энергия. Они начинают страшно *гудеть*, нажимая на клаксоны своих автомобилей, и в городе до утра стоит невероятный гул, пока они не успокоятся и не уснут.

Может быть, это формы какой-то утонченной сублимации. Удивительный народ иранцы, очень тонкий. Я думаю, что они, на самом деле, идут *встречать ночь* в том чистом виде, который мы утратили, будучи погруженными в гедонизм дипсомании и вульгарного, фиктивного, бесполого эротизма.

Опыт ночи

Теперь поговорим о разных аспектах ночи. Первый аспект ночи — это *опыт ночи*. Для того, чтобы понять, о чем идет речь, постараемся прояснить для себя логику *ночного дискурса*.

Для начала необходимо *вывести ночь из области известного*, привычного для нас, из области воспоминаний, ощущений, неприличных историй, либо банальных клише, а также эмоций, которые начинают бить изнутри, как только нам предлагается подумать о чем бы то ни было. Необходимо перейти к свободной форме встречи с явлением, то есть освободить «чердак» от «лишних деталей», «обоев», которые там наклеили и т.п. Необходимо подумать о ночи, провести опыт ночи в нашем сознании, в нашем уме.

Попробуйте настроиться на это состояние, попробуйте просто двинуться в этом направлении без каких-либо заведомых предрассудков и предощущений, без ненужных воспоминаний и излишних ассоциаций. Для того чтобы ночь открылась или просто актуализировалась в нашем сознании, необходимо хотя бы временно забыть о вашем “я”. В принципе, можно о нем потом и не вспоминать, потому что оно особенно никому и не нужно, и вам самим в первую очередь. И если вы ради эксперимента правильно отложите свою собственную индивидуальность и обратитесь к явлению ночи, к ночи как *событию вашего личного, внутреннего опыта*, вы, конечно, начнете передвигаться в том *направлении*, где живет тема этой лекции и, соответственно, сама лекция -- откуда она и кем читается.

Надпись черным по черному

Представьте, что ночь сходит на миг в наше сознание. Представьте, как медленно, постепенно гаснет свет, исчезают предметы, мысли; как вы сами едва-едва погружаетесь в сон. Для того чтобы рассуждать о ночи, необходимо *пребывать в ней*, прикасаться к ее плоти, внимать ее голосу.. Наша задача — *сделать ночь говорящей*. Не говорить вместо нее, не говорить о ней, но дать ей возможность сказать, шепнуть, может быть, прошуршать что-то самой. Вопрос — как это сделать?

И здесь к нам на помощь приходит замечательная герметическая поговорка: «*obscurius per obscurium*» («темное познается с помощью еще более темного»). Можно в связи со сказанным также вспомнить известную алхимическую формулу: «*Nigrum nigrius nigro*» («черное, более черное, чем само черное»). Для того чтобы прочесть язык ночи, для того, чтобы услышать, увидеть ее письмена, необходимо найти ту точку, которая будет *еще темнее*, чем она сама, прорыть ход к ее дну -- туда, где находится максимальный сгусток ночи. И тогда то, что кажется нам сегодня тьмой, *станет светом*, и мы увидим, что черным по черному в ночи *что-то* написано.

Как проявить эти черным по черному написанные буквы? Если мы добавим света, то они окончательно будут залиты. Надписи, которые ночь несет на своем лбу, сделаны черным. И только высветив ее дно, только углубившись на всё более и более внутренние этажи этого явления мы сможем постепенно начать различать, что оно *неоднородно*, что у ночи есть градации, и этот черный цвет ночи предельно богат и оттенками, и содержанием.

То есть мы начинаем приближаться к *статусу совы*, которая является птицей философов, поскольку философы — именно те существа, которые способны видеть в ночи, там, где обычные люди ничего не видят.

Духи Фадеева-Попова

Здесь очень важна и продуктивна формула (или образ) из современной физики, теории суперструн -- духи Фадеева-Попова. Духи Фадеева-Попова возникают из теории вероятности. Возможность теории вероятности придает каждому явлению определенный индекс. Обычная, «классическая» вероятность варьируется между нулем и

единицей, то есть ноль — это совсем невероятное явление, а «один» — это не просто вероятное, но и реально существующее.

Помимо этих граничных состояний существует множество оттенков вероятного. Есть такие явления, чья вероятность бесконечно мала — со ста нолями после запятой, Но и эта бесконечно малая величина принадлежит к категории вероятного, несмотря на свою близость к нулю. При всем своем стремлении к нулю, она — всё же *не ноль*.

Духи Фадеева-Попова предполагают наличие *отрицательной вероятности*. Помыслить это совершенно невозможно, но эта отрицательная вероятность — не просто невероятность. Невероятность — это ноль. Реальность — это единица. А вот духи Фадеева-Попова находятся с обратной стороны от этой проблематики как важнейший элемент решения проблем калибровки Мирового Листа (в той же теории суперструн).

Приглашая вас к опыту ночи, я зову пробраться туда, где присутствуют, гнездятся духи Фадеева-Попова. Именно они -- эти странные явления, родительские матрицы, позволят нам высветить ночь, ведь они находятся фундаментально по ту сторону мира.

Триада ночи: мгла

Следующий шаг к дебанализации ночи состоит *в отбрасывании представления о ней как об умалении дня и света*. Для того, чтобы понять это, следует обратиться к свите ночи. С точки зрения понятий, можно выделить триаду свиты ночи: это *мгла, мрак и тьма*.

По смыслу и по иерархии, мгла, мрак и тьма не равнозначны, нетождественны.

Лингвистика нам поможет различить эту тонкую иерархию свиты ночи — мгла означала изначально *влажные массы воздуха или туманы*.

По сути, мгла — это *атмосферное* явление и означает некий опорный феномен. Однако любопытно в отношении мглы, что славянское слово «небо», которое у нас ассоциируется с чем-то светлым, ясным, прозрачным, на самом деле, этимологически близко к латинскому *nebulos*, то есть туман, мгла. Один и тот же корень может означать разные вещи, поскольку разные народы по-разному определяли небо. Итак, в исконно славянской этимологии слово «небо» очень близко по сути своей к понятию мглы. Это — облака, облачность, сырые, тяжелые пространства, ползущие по верхней тверди. А в нашем сознании, когда мы говорим «небо» и подразумеваем синь, лазурь и простор. Это в нас говорят тюркские корни, поскольку такой смысл содержится в слове древне-тюркском светлое «тенгри» — небо без облаков. В славянском же бессознательном небо затянуто облаками — это *мглистое небо*, мгла.

Мгла — это водяная масса и атмосферно-эстетическое оформление ночи, *напоминание* о ночи, это никоим образом не сама ночь. Поэтому в выражении «ночная мгла» мы имеем дело не с плеоназмом, не с тавтологией. Под «ночной мглой» подразумеваются сырые туманы ночи, которые остаются висеть и утром и даже днем. Мгла – это ночь, присутствующая круглосуточно. И ее печать – хмурое славянское небо.

Мрак

У мрака совсем другой этимологический и символический смысл. Это *состояние угасания*. Это не явление само по себе, а сокращение или умаление, энтропия другого явления, которое имеет автономию, и которое через мрак *омрачается*, помрачается, меркнет.

Представление о мраке — это представление о смерти как умалении, о смерти как изнашивании, как энтропии. Здесь подчеркивается не то, *что* умирает, а сам процесс. Поэтому мрак часто становится метафорой, и в том числе этической метафорой. Он служит для описания не только природных явлений, но и помрачения состояния. Мы постоянно используем в своей речи такие выражения, как «мрачное выражение лица», «мрачное состояние». Конечно, есть мрак ночной, но есть и не ночной. Например, *дневной мрак*. Это может быть состоянием какого-то человека, и тогда говорится, что «мрак его объял».

Мрак как умаление и умирание также шире, чем ночь, и простирает свое владычество и на сферу дня. Но делает иначе, нежели мгла — не в форме сырого тумана и хмурых облаков, но в форме постоянно воспроизводимого таинства умирания, распада, увядания, исчерпания. Это работа ночи.

Тьма как граница

И третий представитель свиты ночи — тьма, дает нам реальное прозрение сущности ночи. Тьма не означает ничего, кроме себя самой. Это и есть по сути дела ночь.

Конечно, в разных языках относительно этого понятия дела обстоят по-разному. Но сейчас мы говорим о пространстве русского языка. Тьма — это представление о *границе*. Тьма — это то, что объемлет видимый мир, обнимает Вселенную, окутывает сегодня вещи, и нас, и всех существ мира со всех сторон. В этом она действительно полностью сливается с ночью и подобна ей в этом.

В представлении о тьме, как границе, проявляется наша человеческая метафизика. Ведь мы инстинктивно *мыслим, чувствуем и говорим* в

терминах дня. Мы смотрим на мир глазами дня. Мы смотрим на ночь с позиции дня. И поэтому ночь для нас является пограничной территорией, означающей конец того, что нам известно как день.

Она определяет с некой фатальностью, неизбежностью и абсолютностью то, *откуда* мы появились (потому что нас когда-то не было), и то, *куда* мы исчезнем. *Мы приходим из ночи и уходим в ночь.*

Но и от этого представления о ночи и тьме как границе следовало бы избавиться. Пока мы смотрим на ночь таким образом, ключ к ночи ускользает от нас. Тьма остается навсегда закрытым отрицательным понятием.

Тьма содержит в себе томление, ужас, гнетет нас и внушает глубинное желание как можно дольше оставаться в границах дня, уклоняясь, отвлекаясь, отодвигаясь от этих границ. Мы жмемся от тьмы к свету дня, тем самым только усиливая отрицательный и разрушительный потенциал ночи. И вместе с тем усугубляя ее непонимание.

Для того, чтобы понять метафизику и онтологию ночи, нам необходимо разрушить этот серьезнейший барьер и воспринять ночь не как границу, и не как кромешную тьму — ведь «кромешная» означает кромку, дальше которой мы ничего не видим и не знаем. Но дальше-то как раз и все начинается...

Пока мы отрицательно рассматриваем ночь, она будет от нас ускользать.

Теперь мы перешли к новой фазе. Не просто изъятие ночи из хищных объятий банального рассудка, но нечто более серьезное. Мы подошли вплотную к опыту ночи, к освобождению ночи от понятия *границ*.

Священное молчание земли

У Рене Генона в книге «Великая триада» (где он разбирает китайскую традицию) есть загадочный пассаж, который звучит так: «Небо повернуто к людям лицом, а земля повернута к людям спиной». Поэтому небо — это *говорящее* явление. Оно постоянно озвучивает свои послания через слова пророков, жрецов, через волю героев и царей, через поступь истории, через подъем и падение царств, через деяния народов и рас. Небо действует и заявляет о себе, посылая к нам своих сынов.

А земля — традиционный синоним ночи — *молчит*. Она ничего не говорит, она просто обозначает собой *конец небесного дискурса*. Там, где этот дискурс заканчивается, начинается *молчание земли*. Поэтому она повернута к нам *спиной*.

Неслучайно духовный опыт подъема на небесах описывается как прохождение плотной зоны громких голосов, как вой, рев труб, как ангельское пение. Ночь же и земля молчат. Их послание заключается только в том, что мы понимаем: «наше время истекло» («у нас больше на балансе не осталось денег»). Поэтому молчание ночи вошло в индоевропейский язык в качестве субститута понятия «ничто». Мы говорим — ночь, подразумеваем — ничто, немцы говорят die Nacht — подразумевают das Nichts. Французы говорят — le neant — подразумевают la nuit. Мы не называем ночь ее именем.

Кстати, многие нынешние слова являются субститутами слов табуированных. Например, слово «рыба» по-славянски никогда не звучало как «рыба». «Рыба» — это просто существо, «роющееся» мордой в иле. Настоящее название рыбы в старославянском языке — нетабуированное — «зва». Но его не использовали, потому что боялись пробудить ту гигантскую мистерию, которая связана с этим речным или морским животным. Поэтому из уважения к рыбам, к «зве», из ужаса перед ними и, наверное, любовью к ним, их уважительно, деликатно и соблюдая дистанцию называли иносказательно -- «рыбами», то есть «роющимися».

Поэтому и ночь назвали так — νύξ, пох, ночь, nacht, night, — будто бы этим говоря: «нет, мы не будем тебя называть, ты – всегда иная, а не то, что мы говорим». О ночи человеческий язык молчит. Поэтому реальной мифологии и реального имени ночи мы не знаем.

Ночь скрывает свое имя, как земля скрывает свое лицо. Мы знаем только ее спину (как, впрочем, не знаем спины Неба, нам видно только его лицо). И мы можем составить представление о сути, о лице земли лишь в том случае, если откажемся раз и навсегда — без жалости, беспощадно и решительно — от того, чтобы смотреть на нее со стороны дня. Как любил повторять Евгений Головин строчки одного французского поэта: «Тот, кто идет против дня, не должен бояться ночи».

Необходимо понять *ночь саму по себе* -- без опыта дня; не как предел умаления, а как нечто самостоятельное, самодостаточное, самозначимое. Именно там, где находится скрытый, тайный лик земли, пребывает то, что *чернее черного*. Поразительно, однако, не кто иной, как Генон говорил, что этот *лик земли странным образом сопряжен со спиной неба*.

Это головокружительная интуиция: у неба, оказывается, есть какой-то — пусть весьма незначительный, пусть бесконечно малый, но -- *изъян*. А у земли, которая, казалось бы, предельно проста, есть невероятная, глубинная *тайна*. Это тайна *черного излучения*, тайна черных лучей ночи.

Мифология ночи: живородящая мать

Если двигаться в этом направлении и дальше, то следует обратиться к орфической греческой мифологии, где νύξ (или пох — у латинян) была представлена в виде примордиального существа, которое ездило по

небу в колеснице, запряженной двумя черными конями, рассеивая ароматом своих духов тьму по небесной поверхности.

Νυξ — это дочь Хаоса, принадлежала она к разряду высших и абсолютных божеств, которых боялся даже Зевс. Верховные олимпийские боги *клялись ночью* только в самом крайнем случае. Это гораздо более фундаментальная онтологическая реальность, чем сами олимпийцы. При этом Ночь в греческой мифологии рассматривалась как *мать* двух детей: Эфира (света) и Гемеры (дня). Таким образом, греки относились к *Ночи не как к отрицанию дня*. Они умели смотреть на ночь не глазами дня, а с помощью *ночного зрения*. Они были способны обратить свои зрачки в обратном направлении, и обозревать явления с другой стороны (как если бы мы смотрели не в телевизор, а сами на себя с экрана и видели бы, что происходит по эту сторону).

Греки были удивительными созданиями, и в теогонии орфиков ночь считалась первопричиной бытия и высшим существом. Ночь порождающая, живородящая, *животворящая* — это образ, приближающий нас к пониманию ее сущности. Это -- ночь беременная, чреватая. Русское слово «чреватый», то есть носящий во чреве, зачатый во чреве, непустой, нестерильный здесь точно соответствует тому, на что мы хотим обратить внимание.

Лилит стерильна, но рождает

Конечно, ночные божества в разных теологиях и мифологиях сплошь и рядом (как суккубы в магии или Лилит в каббале) ассоциировались со стерильностью. Неслучайно имя Лилит, первой, стерильной жены Адама созвучно с еврейским словом «лейла», то есть ночь ⁽¹⁾. Но это как раз взгляд со стороны дня. Однако каббалисты говорили, что Адам вместе Лилит *народил* большое количество особых существ (Авель и Каин — это дневные потомки Еввы), среди них Аза и Азаель и прочие

странные ночные существа. В этом подозрении сквозит воспоминание, орфическая интуиция о том, что ночь чревата, что ночь несет в своем чреве, что ночь нагружена, ночь полна, она не выхолащивает, а наоборот, она оплодотворена и оплодотворяет, неся в своем чреве свет и день. Хотя это особый день и особый свет...

Кек и Каукет: ночная пара Египта

Интересна мифология ночи у египтян. У них ночь дуальна, она представляет собой пару персонажей из великой восьмерки, великой Огдоады, примордиальных богов хаоса. Мужская половина ночи — это Кек, а женская половина ночи — это богиня и протобогиня Каукет. Кек и Каукет — это пара⁽²⁾. Кек — это жабоголовый мужчина, Каукет — змеиноголовая женщина. Кек называется *«прародителем света»*, это близко к $\nu\xi$ орфиков, а Каукет называется *«гасительницей света»*. Поэтому они как бы оформляют ночь с двух сторон. Каукет — женское воплощение ночи, гаснущий свет, или погасший свет (что еще интересней), а мужское воплощение ночи — Кек — еще неродившийся свет. Эта дифференциация жабоголового бога ночи и его змееголовой супруги дает нам тонкое представление об этой чудесной семейной паре.

Во многих традициях, в самых разных лингвистических контекстах эта звуковая игра повторяется: Кек и Каукет, гог и магог «Библии», коки и викоки в индуизме. На это обращал внимание в свое время Генон. Такие странные примордиальные существа, принадлежащие сфере тьмы, демонизируются нашим дневным сознанием, но если копнуть глубже, можно увидеть, что они гораздо более тонкие и многомерные⁽³⁾.

Ночь в монотеизме

Если взять на рассмотрение иудаизм, то мы увидим, что специальной истории про ночь здесь нет. Но показательно, что в отсчете дней в Ветхом Завете всё начинается словами: «и был вечер, и было утро», то есть ночь предшествует дню, как запад и осеннее равноденствие предшествуют всему остальному году.

Итак, сначала «был вечер» — это уже ближе к нашим Эребу⁽⁴⁾ (Ereboz) и Нюкс (Nux), — и только потом уже «было утро, день первый». И кстати, православный обычай отмечать церковное новолетие 1 сентября по старому стилю, когда наступает «вечер года», как раз восходит к этой концепции.

Ночь в Православии

Образ ночи в православии, вопреки ожиданиям, особой негативной нагрузки не несет. Конечно, в Псалтыри (90 Псалом – «Живыи в помощи Вышняго») упоминаются «страх ночной» и «вещь во тьме приходящая», но в общем, это достаточно второстепенные персонажи, и они отражают не суть ночи, а лишь ее отдельные аспекты и что в ней может случиться. Кстати, в том же псалме говорится о «бесе полуденном», и загадочном «сряще», с которыми, судя по всему, люди сталкиваются не ночью (так как он упоминается вместе с «бесом полуденным»). Ночью же моно напороться на «вещь во тьме приходящую». О «бесе полуденном», впрочем, следовало бы говорить отдельно.

Что касается ночи, то православная литургия помещает свое богослужение именно в пространство ночи. Полное церковное

богослужение довольно продолжительно, причем изначальной и даже в более поздние времена (на Руси вплоть до XVII века) совершалось оно именно ночью — сейчас мы это называем «всенощным бдением». Начиналось оно с «Павечерницы», потом следовала «Вечерня», потом «Утренняя», потом «Часы», потом «Полуночица», потом «Обедница». В старообрядческой традиции до сих пор вычитывают полный молитвенный цикл без сокращений, хотя и делают расход (на ночь) между «Первым часом», примыкающим к «Утрени», которую читают с вечера и «Полунощницей», которую читают уже ранним утром.

Нормальные христиане, таким образом, всю ночь за молитвой и проводили. Непонятно, правда, что они делали днем. Видимо, спали. В Московской Руси считалось, что если человек днем, после обеда, не спит, то, скорее всего, еретик и водит шашни с дьяволом. После службы поел и спать лег. Потом проснулся, опять поел и опять уснул. А к вечеру на службу опять. В христианском цикле ночь и день поменяны местами. Они друг друга заменяют.

Отсюда этот православное приказание — *бдеть в ночи*. Здесь следовало бы вспомнить притчу о нерадивых девах, которые не купили для встречи жениха свечей. Ведь церковные свечи — это и есть христианское понимание того *особого света*, который в каком-то смысле противостоит дневному солнцу. Это солнце ночи, это свет, негаснущий, свет не вечерний, сохраняющийся в ночи и зажигающийся в момент богослужения.

В ритуальном смысле, ночь осмысливается как нечто святое и прекрасное в православной традиции.

«Тьма превысшая света»

Но есть еще один, более глубокий, богословский аспект ночи, сказывающийся в апофатическом богословии. Это богословие предусматривает способ познания Бога *через разотождествление* Его со всеми вещами мира, которые мы видим вокруг нас или только можем себе представить. Апофатическое богословие подчеркивает: что бы мы ни сказали в отношении Бога, всё будет неверно — Бог есть не то, не то, не то.

Исходя именно из этой апофатической логики, Св. Дионисий Ареопагит ввел такой термин, как *υπερθεος*, то есть «сверхбог». Почему возникает такая странная для многих формула — *υπερθεος*? Именно потому, что если сказать, что Бог тождественен Богу, это будет *неправда*. Бог, на самом деле, ничему не тождественен в этом апофатическом методе. А Св. Григорий Палама говорит о Боге: «*Это тьма, превысшая света*». Названная формула приближает нас в православном контексте к той реальности, каковую мы изучаем сегодня.

Ночь предназначения

Ночь имеет фундаментальное значение и в исламе. У мусульман есть праздник — «лейлат-аль-кадр» («ночь предназначения»), знаменующий собой акт вхождения в Мухаммеда плоти небесного Корана, после чего Мухаммед и стал из себя извлекать то, что пришло к нему в этой ночи. И после этой ночи предназначения история мусульман потекла совершенно по-другому.

В шиизме и в суфизме тема ночи получает еще более широкое апофатическое толкование.

Ночь метафизическая: потенциальность

В метафизических традициях и концепциях с днем связывается актуальное, действительное, а с ночью — потенциальное, возможное.

В метафизике категории «возможности» и «всевозможности» рассматриваются как наиболее проблемная сфера. Актуальное всегда сужает поле возможного, так как существует в синтагматической цепочке исключения иных возможностей (которые не являются актуальными именно потому, что актуальной является именно данная конкретная возможность, перешедшая из своей потенциальности в действительность). Сознание метафизиков тяготеет к тем возможностям, которые существуют именно как возможности, но *еще* не реализованы, *просто* (без еще — т.е. например, бывшие реализованными ранее) не реализованы, или могут быть реализованы теоретически — на то она и возможность.

Семена невозможного

Метафизически ночь, как выражение Всевозможности, потенциальности, всегда *чревата*. Если в мифологии или в каких-то психологических аспектах мы можем в определенном смысле играть со стерильностью и чреватостью ночи, то метафизика начинается с фундаментально утверждения о том, что ночь «обрюхачена». Она несет в своем чреве, она понесла в своем чреве, более того, она всё и всегда несла в своем чреве. Это переполненное чрево ночи, кишашее и животворящее потенциалом. В этой метафизической ночи, конечно, есть семена того, что есть, того, что может быть, но чего еще нет, но есть и семена того, чего нет и чего быть не может. И об этой

реальности можно говорить лишь как о *семенах невозможного* или невозможных семенах.

Они-то как-раз, семена невозможного, и связаны с тем, что мы обозначили как тайна черного, более черного, чем само черное. Nigrium nigrius nigro.

Следует различать тьму, рождающую наш свет, и тьму, рождающую *свой свет*, свои собственные черные излучения, которые не становятся нашим привычным светом и остаются особым, специфическим *свечением ночи*. Это и есть та реальность, с помощью которой мы могли бы декодировать ее плоть и действительно сделать ее объектом прямого личного телесного философского и интеллектуального опыта. Этот второй или ночной свет как раз по-настоящему и fasciniрует нашу метафизическую интуицию.

«Что-то здесь не так», — догадываемся мы и впервые начинаем думать об очень интересных и серьезных вещах.

Черный огонь многорукого Шивы

В качестве некой банальной иллюстрации метафизики тьмы можно привести индуистское учение о трех гунах (состояниях природы, «пракрита»). Они следуют в таком порядке: саттва — свет, раджас — огонь, экспансия, и тамас (та же русская *тьма*, тот же древний индоевропейский корень) — инерция и низшая форма материального существования, неподвижность, застывшее. Все вещи нижнего мира содержат в себе преимущественно тамас — тьму, а верхнего — саттву. Это общая иерархия проявленного мира. Касты, духи, природные явления, царства устроены по ее принципам. Всё здесь гармонично и логично, но только до тех пор, пока мы не переходим в мир принципов. Тогда-то возникает совершенно обратная ситуация.

Среди триады так называемых «высших богов» индуизма (хотя это точнее было бы назвать их метафизическими началами) происходит «обратное» распределение каст в соответствии с гунами. Брахма — творец мира — соответствует гуне саттва, но поклоняются Брахме — творцу — как правило, вайшьи, третья каста, довольно низкая. Из трех главных она — самая низкая. Вишну соответствует раджас — этот принцип огня — покровитель воинов. А вот брахманы — высшая каста индуизма — поклоняются преимущественно Шиве, которому соответствует *гуна тамас*. Иными словами, здесь мы обнаруживаем иерархию в мире начал, прямо противоположную той, что мы обнаруживаем в отношении проявленного мира и в человеческих кастах.

В данном случае в понятии тамас мы сталкиваемся с двойственной реальностью: в триаде «высших богов» она имеет бесспорное превосходство над остальными, а среди вещей проявленного мира, наоборот, располагается в самом низу, выступая в роли грубой материи. И стоит задуматься: не представляет ли эта видимая аномалия индуистской традиции указание на то, что мы назвали *лицом земли и обратной стороной ночи*? Эта вторая сторона мрака, аскета Шивы несет в себе смерть, конец, но она же и открывает дух -- то единственное, нетленное, неуничтожимое, вечное, что сияет гигантским черным огненным столпом посреди всех миров.

В одной из Пуран говорится, что высшие божества, Брахма и Вишну, спорили между собой о главенстве, кто из них важнее, пока не увидели луч, исходящий из бесконечности, и в бесконечности теряющийся. И был он черен и невидим. И тогда поклонились они господе Шиве и сказали: «Какие мы дураки. Это действительно то, чего мы не понимаем и не знаем. Ты — высший из богов!»

Суфийская практика «фана»

В метафизике суфизма существует практика фана, то есть «погашения». Представьте себе, что вы держите в руках зажженную сигарету. Вот вы ее докурили, и потом тушите в пепельнице. Такова же и практика фана: вы есть, вы ходите, пьете компот, смотрите по сторонам, звоните по телефону. Но на самом деле — это горящая сигарета. Пока она тлеет. Но рано или поздно она закончится, и, не дожидаясь, пока она догорит до фильтра, вы просто тушите ее о дно пепельницы. Это простейшая формула фана: вы есть и — раз! — вас нету. Вы призываете на себя конец, вы призываете завершение собственного существования.

Казалось бы, тут можно сказать: ну и всё. Однако тут-то, как только вы освободили место, которое вы занимаете неправомочно, случайно и бессмысленно, — с точки зрения суфийской антропологии, — *только всё и начинается*. Свое место всякий человек занимает не по праву, у него нет билета. Часто нам снится, что мы едем в московском метро, и у нас начинают проверять билеты. Это верная сновидческая интуиция, поскольку *у нас на самом деле этого билета нет*. Мы едем, но билета мы не купили, не заплатили за него, и любой контролер — да что там, контролер, просто *любой!* -- может, имеет на это все основания, нас немедленно выдернуть с нашего места и «потушить».

Итак, задача первого шага в оплате собственное существование — это погасить себя как сигарету и войти в состояние «фана». А дальше посмотрите, *что будет*. *Если есть что-то ценное в вас, то оно даст о себе знать*. Придет и скажет (как в песне Псоя Короленко): «Дорогие товарищи, я крошка Хавэлэ, я пришла, теперь я буду занимать это место». А если ничего не придет, значит — не удалось. Что ж, место другим освободите.

Этой практике метафизического самопогашения в суфизме соответствует монашеская практика православного кенозиса, истощания. Монах гасит себя, чтобы в нем проявился *кто-то другой*. Надеется, что это будет кто-то другой.

Однако не у каждого монаха получается, чтобы это был *настоящий другой*. Чаще всего они путаются в самих себе и чем больше стараются избавиться от себя, присмирить себя, тем больше их «эго» утверждается в том, какие они молодцы. Это очень тяжелый путь. Тоже своеобразная *практика ночи*, хотя и православная.

Не объяша: как это понимать?

В Евангелие дана очень важная формула: «свет светит во тьме и тьма его не объяша». На первый взгляд кажется, что всё здесь просто. Речь будто бы идет о таком появившемся свете, который прервал главенство тьмы. Но давайте мы всё представим себе немного по-другому. Ведь неслучайно во всех переводах встречается это «объяша», то есть «полностью окружив». Свет светит, а тьма его не может окружить. На самом деле, здесь говорится уже о какой-то другой тьме, поскольку тьма, данная как граница, — это то, что по определению окружает: и метафизически, и индивидуально. А вот та тьма, чье кольцо прорвано неким светом, — особым светом, наверняка необычным светом, зажегшимся во тьме, — имеет другой характер.

К сожалению, мы не знаем, прорвал ли этот свет тьму только в одной точке или в нескольких... Но даже в таком случае — если в одной-- она его «не объяша». Может быть, на 359 градусов всё-таки она его и объяша, но если хоть на один градус не объяша, значит, *вообще* не объяша. Иными словами, там, где граница прорвана, отменяется само понятие границы. Но в этой очень сложной и страшной формуле речь идет об особой тьме, о тьме, *которая разгадана*, которая преображена, раз она «не объяша». Значит, она уже не тьма. Она просветлена с обратной стороны. Да и свет этот, по-настоящему невечерний, иными словами, не имеющий перспективы энтропии, не подлежащий тьме — это тоже *особый свет*, свет необычный. И вот, когда он зажегся и светит во тьме, оказывается, что он что-то нарушил в

фундаментальном балансе между возможным и действительным, между ночью и днем. И появилось *ночеденствие*, (или денноночествие), появилась особая реальность, где свет не кончается и тьма не гасит его. Соответственно, нет начала, нет конца. Есть прорыв в фундаментальной диалектике.

Так что же повествует нам эта удивительная евангельская формула? Она снова обращает нас к той точке, где *спина неба соприкасается с ликом земли*. Это особая тьма и особый свет. Они преобразили друг друга и стали чем-то иным.

Русская тьма

Гениальный Клюев, русский пророк, точно предчувствовал это в своих стихах:

«И над Русью ветвится и множится

Вавилонского плата кайма.

Возгремит, воссияет, обожится

Материнская вечная тьма.»

Не человек обожится, *тьма обожится*. Вещая, священная ночь обожится. Это обожение тьмы, безусловно, подталкивает нас к удивительной вещи – такой как *русская тьма*. Поскольку о чем бы Клюев ни писал, он писал только о Руси. Ведь только «русская тьма»

единственно и может подлежать этому обожению. «Русская тьма» — материнская и вещь.

Ксенофан и его земля

Здесь следует сделать методологическое отступление относительно древнегреческого философа досократика Ксенофана. Чем дальше, тем больше я прихожу к выводу, что «единственно правильной и абсолютно верной философией» является не марксизм, а только учение Ксенофана. Для нас, гонзо-метафизиков, Ксенофан — это абсолютный авторитет. Всё, что говорил Ксенофан, не подлежит ни малейшему сомнению. Все его оговорки, все его устарелые концепции, все слухи и мифы о Ксенофане, с метафизической точки зрения, имеют почти агиографический характер. Я исповедую его философию, я его прямой последователь.

Философия Ксенофана — это абсолютно *ночная философия*. Это философия в стиле «русской тьмы». Ксенофан был философом земли. Но как он видел землю?

В отличие от других досократиков-натурфилософов, он учил, что *всё состоит из земли*. Всё — включая человеческую душу. Он рассматривал человеческую душу как *прямой продукт земли*. Он объяснял это легко и, на мой взгляд, удивительно изящно: изначально существует только земля, которая жива и абсолютна. Под «землей» он понимал не какую-то абстракцию, а просто конкретную землю — грунт, почву.

Тут можно, по аналогии, вспомнить одного из персонажей платоновского «Чевенгура», который ел землю, полагая, что она святая, и провозглашал себя богом. Иначе говоря, это был своего рода последователь философии Ксенофана.

Итак, у Ксенофана речь всегда идет о конкретной земле, пашне, о том, что под нашими ногами, о прахе. Эта земля, будучи наделенной гигантской внутренней энергией движения, *разжижается* и становится водой.

Потом вода *испаряется* и превращается в облака. Потом облака, когда они становятся всё более и более тонкими, *зажигаются* и превращаются в солнце и звезды. Когда начинается процесс погашения солнца, оно опять превращается в облака, остывая и выпадая дождями на землю, вода впитывается в землю и всё начинается сначала. Иначе говоря: из грязи к небесам и опять в грязь. Таков ксенофоновский цикл.

Со всем сказанным сопряжены другие важнейшие элементы философии Ксенофана. Он учил, что солнце, которое мы видим в Лигурии, во Фригии, в Египте, или у скифов — это *не одно и то же солнце*, поскольку земли там разные; воды, которые из этих земель появляются, разные, облака там совершенно разные. Соответственно, и *солнца там разные*. Причем это была *физика*, а не сказки. Я настаиваю, что это единственно правильная, настоящая и строгая физика. Ведь русская земля, рождающая русские деревья, русские реки, русские облака, русское солнце, рождает и наши русские души. *Наши души физически созданы из русской земли*. И может, они чуть-чуть полегче, чем сама земля, но это, по крайней мере, одна из форм.

Будьте верными земле

Если мы возьмем Ксенофана как ключ к пониманию того, что с нами происходит, мы по-другому сможем проинтерпретировать слова Ницше: «Братья мои, будьте верными земле». Живородящая земля, земля, повернутая к нам ни спиной, ни лицом, вообще *без сторон*, без спины, без лица, одна, общая, глобальная, тотальная земля

одновременно является всеобщей *и только русской*. Но именно русская земля сотворяет всё то, что с нами происходит, она сотворяет наш язык, наше солнце, причем в самом прямом, физиологическом, материальном смысле.

При таком понимании, русский мрак, русская ночь, русская тьма, русская мгла, русский лес, русская вещь, русская река —приобретают особое значение. С одной стороны, это, конечно, явления всеобщие, а с другой, — *только наши*. Они для нас являются и наделяются смыслом только *здесь*, в горизонте русской земли, а что обнаруживается за пределом этого «здесь» — нам неизвестно. Посему, когда мы читаем книги других эпох и других земель, нам только кажется, что мы их понимаем. А по-настоящему — мы сами их пишем, когда их читаем. Мы творим через русские души то, что написали Батай, Ницше или Хайдеггер. Хайдеггера и Батая, на самом деле, не существует, это придуманные русскими сказочные персонажи нового русского фольклора. Этот фольклор, по сути, придумал весь мир и всё, что находится внутри наших границ и вне их, например, Францию, которую мы мыслим тоже по-русски.

Я был в юности поражен, когда Е.В. Головин фактически *создал* такую Европу, такую европейскую культурную географию, каковой не то, что не существует, но никогда и не существовало. Это была восхитительная география, населенная мудрецами, поэтами, алхимиками, героями, метафизиками, денди. И до сих пор она населена ими, эта головинская Франция, головинская Европа. Но на самом деле, такая Франция существует только в русском сознании, в русском мышлении в русском действии, поскольку основывается *на испарениях нашей земли*. Головин воссоздал то, чего нети не было — русскую европейскую культурную историю. Когда же мы действительно пытаемся посмотреть на европейцев, как они сами на себя смотрят, — если, конечно, кому-то удастся настолько отдалиться от самих себя, — мы попадаем на совершенно непонятную территорию, там ничего из того, что мы считаем европейским, не существует и не существовало никогда, а было все абсолютно *другое*.

Холодное и непонятное. Бездушное. Вышедшее из другой земли, где травы пахнут пластиковыми духами и туалетной водой...

Русское «всё»

Приходит в голову такое сочетание: «русское всё». Русское всё вообще. Не «всё русское», а «русское всё». Можно допустить, что есть и «нерусское всё». Но это лишь допущение, что есть что-то вне русского всего. Всё, что нам дано — это наша земля и ее различные состояния. Поэтому вне народа и вне родной земли просто не существует онтологии. Бытие — явление сугубо русское.

А если есть у каких-либо других народов аналоги бытия, то нам это, во-первых, — неизвестно, во-вторых — неинтересно. Поэтому я охотно допускаю, что нерусскому уму всё сказанное о метафизике ночи и о ее лучах, будет совершенно непонятно. Но глубоко убежден, что каждый русский человек прекрасно поймет, о чем я говорил.

Словарь Ночи как политическая программа

Что можно предложить в качестве *практического приложения* данного исследования о ночи и ее лучах?

Я со своей стороны воспринимаю это как своего рода призыв, как политическую программу, ясную и доступную народу, широким массам, при этом оформленную в простом и интуитивно понятном терминологическом аппарате. Я думаю также, для того, чтобы нести эту идею ночи в массы, необходимо выработать ночной словарь, *словарь терминов ночи*.

Словарь, конечно, должен быть составлен в ксенофановском ключе. В него должны войти многие словарные статьи, -- по крайней мере, большая часть того, что мы условно называем «европейской мыслью» или «западной мыслью», туда, безусловно, войдет. Впрочем, в оригинальной трактовке и чаще всего в неожиданной иерархической последовательности. Какие-то явления, которые окажутся второстепенными, мы просто пропустим, или дадим им небольшое место. О каких-то вещах (которые на самом Западе считаются маргинальными) в словаре ночи мы будем, напротив, говорить обстоятельно и подробно.

Я думаю, одной из глав великого словаря ночи, который мы все должны написать, будет целая книга, причем желательно приведенная во французском оригинале, Луи Фердинанда Селина «Voyage au bout de la nuit» («Путешествие на край ночи»). Эта книга открывается в качестве эпиграфа «Песней швейцарской гвардии», которая, как мне кажется, должна быть написана в сердце каждого порядочного человека:

«Notre vie est un voyage

Dans l'hiver et dans la nuit

Nous cherchons notre passage

Dans le ciel ou rien ne luit»

Что переводится дословно как:

«Наша жизнь — это путешествие

В ЗИМЕ И В НОЧИ

мы ищем наш путь в небе,

где ничего не светит».

Двадцать пять лет назад, когда я впервые столкнулся с этой книгой, она произвела на меня шокирующее впечатление, поскольку это был действительно фундаментальный, метафизический и физиологический одновременно опыт ночи. Это не просто книга, это что-то большее, чем книга, это — не текст, это голос, зов ночи, и до сих пор я помню эти слова:

«Elle prend tout ce qu'on dit la peur, tout ce qu'on pense, tout. Ça ne sert pas même d'écarquiller les yeux dans le noir dans ces cas-là. C'est de l'horreur de perdue et puis voilà tout. Elle a tout pris la nuit et les regards eux-mêmes. On est vidé par elle. Faut se tenir quand même par la main, on tomberait. Les gens du jour ne vous comprennent plus. On est séparé d'eux par toute la peur et on en reste écrasé jusqu'au moment où ça finit d'une façon ou d'une autre et alors on peut enfin les rejoindre ces salauds de tout un monde dans la mort ou dans la vie.»

(На этом кончается лекция в доме культуры МВД, называвшаяся «Ночь и ее лучи». Надеюсь, вы смогли их почувствовать на себе.)

Сноски:

- (1) Этимологически это не так, поскольку «Лилит» происходит от ивритского корня «лев», «извиваться». См. «Енох омраченный».
- (2) Этот сюжет интересно сравнить с концепцией двух Левиафанов – мужского и женского. См. «Енох омраченный».
- (3) Эта тема подробно разобрана в главе «Сатана и проблема предшествования» в книге «Философия традиционализма».
- (4) Эреб в греческой мифологии -- сын Хаоса и брат Ночи.

Глава 7. СМЕРТЬ И ЕЁ АСПЕКТЫ

Празднующие Новый Год будут гореть в аду

Наши занятия проходят в вечном учебном заведении, которое невозможно окончить, в него можно вступить, а выйти нельзя. Вход — рубль, выход — десять. Но в принципе, даже десять рублей никого не спасут, поскольку «коготок увяз — всей птичке пропасть». Мы продолжаем традицию новогодних лекций.

Обычно в Новый год люди отдыхают и расслабляются. В техническом анализе, в экономической сфере есть очень важная фраза: «The majority is always wrong». Это касается того, как надо играть на бирже. Если все ставят на повышение акций — немедленно надо ставить на понижение, и наоборот, потому что «majority is always wrong». Любой приличный человек из традиционалистов может подписаться под этим. Если люди вокруг вас делают что-либо, не делайте этого никогда, делайте что-то прямо противоположное и будете правы.

Обычно перед Новым годом у нас, у нормальных людей, консервативных революционеров, герметиков, евразийцев начинается эпоха интенсивного аскетического внимания. Изучение сопровождается постом. Вы знаете, что люди, начинающие гулять до седьмого января, прокляты. Они будут гореть в аду. Поэтому пить, гулять и веселиться можно только после седьмого, а до этого наоборот. Уже 1 января — начало фундаментальных, жестоких самоистязаний. В это время надо носить вериги, власяницы, то есть обращаться к чему-то прямо противоположному по отношению ко всем этим салатам

оливье, посещению друзей, «позвони родителям» и т.д. В это время нужен скит.

Наши лекции настраивают на правильное проведение Нового года и особенно его начала. Поэтому мы поговорим о самом соответствующем этому периоду зимнего солнцестояния предмете — о смерти и ее аспектах, настраивая наше сознание на ту нижнюю точку, которой сейчас достигает природа, космическое солнце.

Кто умер, тот никогда не жил

Я хотел бы начать с фразы, которую предлагаю вспоминать не только на протяжении сегодняшней лекции, но и до скончания ваших земных дней. Эту фразу в свое время произнес Евгений Всеволодович Головин. Я не знаю, где он нашел ее, поскольку он, кажется, всякий раз ссылался на разных авторов. Наверное, это его фраза, а может быть, эта фраза является «абсолютной фразой». Я помню, что лет 20 назад, проснувшись в каком-то странном состоянии, Евгений Всеволодович сказал: «Кто умер, тот никогда не жил».

Меня это поразило, потому что думать над этой фразой можно бесконечно. Что он имел в виду, мы как раз и попытаемся понять в ходе нашей лекции «Смерть и ее аспекты».

Понятно, что смерть невозможно ни осмыслить, ни представить без жизни. Смерть вызывает в нашем воображении жизнь и являет собой столь же неопределенное, загадочное и нефиксированное понятие. Мы будем говорить о смерти и жизни, чтобы понять смерть.

Нордическая деконструкция

Вначале надо обратиться к этимологии. Еще в конце 80-х годов, я подчеркивал необходимость постоянной и *особенной* деконструкции любого текста или понятия – условно назовем ее «*нордической*». Есть деконструкция (приведение высказывания к языку, то есть к контексту, откуда это высказывание появилось) структурной лингвистики, структурной философии (я об этом читал лекцию -- «Деконструкция как главное оружие евразийства»⁽¹⁾). Это обычная деконструкция: постмодернистическая, структуралистская, впрочем, тоже очень полезная и важная. Человек, неспособный к деконструкции, не представляет никакого интереса, с точки зрения философского дискурса. Об него можно тушить бычки, плевать в него, бесконечно унижать, поскольку человек становится человеком (в философском смысле) только тогда, когда он начинает обучаться первым навыкам осуществления деконструкции. И если он не осуществляет деконструкции, значит, он безнадежен, неинтересен.

Любое высказывание исторично и было когда-то произнесено в первый раз. Этот первый раз чрезвычайно интересен и важен для анализа как его повторений, так и исторической среды и смысловых структур, ее определявших. Реставрация стартовых условий высказывания, его контекста, его смысловых нагрузок и семантических сдвигов в процессе цитирования и воспроизводства в иных условиях и составляет искусство философской деконструкции. Тот, кто понимает, что ни одно высказывание не нельзя рассматривать без анализа контекста, тот мыслит, говорит и философствует корректно. Кто поддается магии звучания слов, увлекаясь суггестивными потоками ассоциаций и хаотизмом семантических сдвигов, тот законченный идиот и к словам его всерьез относиться не следует.

Кроме философского, структуралистского уровня деконструкции, есть еще более глубинные, каббалистические аспекты деконструкции. В книге современного каббалиста Мардохея Шрики я прочитал недавно в сносках такое коротенькое замечание: «понимание, то есть

деконструкция». Иными словами, *деконструкция и есть понимание*. Да и где, как не в каббале, нам было столкнуться с этим инструментом!? Ведь здесь речь идет не только о приведении идей к контексту, или высказываний — к языку, но и о дальнейшей деконструкции — о сведении *слов к буквам* и их цифровым эквивалентам.

Но нордическая деконструкция, к которой я обращаюсь, отличается от деконструкции структуралистской тем, что здесь мы сводим понятия и высказывания к изначальному, гиперборейскому праистоку, к их проторунической, буквенной и протобуквенной значимости⁽²⁾.

Reductio ad arborem

Что такое буква? Откуда произошло само слово «буква»? Например, немецкое Buchstabe происходит от слова «бук» — порода дерева, на котором некогда вырезались руны. Стало быть, буква — это руна, то, что вырезают на дереве или то, что делают из дерева. Отсюда «резы», упоминаемые черноризцем Храбром, упоминавшим о древнеславянской докириллической и доглаголической письменности. Первичный концепт буквы, без которой не были бы возможны слова, высказывания и идеи, совпадает именно с *деревом*. Мы являемся представителями *цивилизации дерева*, поэтому наше сведение всего к руническому уровню деконструкции, к букве можно назвать *reductio ad arborem* — *редукцией к дереву*. И когда мы сможем свести какое-либо явление, например, смерть, о которой мы сейчас будем говорить, к *древесному началу*, тогда мы приблизимся к тому истоковому значению, которое рождается в этом изначальном семантическом пространстве.

Радикальный нордизм

Нордическая деконструкция (сведение к дереву) *располагает смерть у корней мирового года*. Согласно Герману Вирту⁽³⁾, изначальный символ года — это дерево, то есть круг, в который вписаны ветви.

Нижняя точка этой арктической идеограммы означает в календарном смысле зимнее солнцестояние.

То, что мы ищем, обнаруживается у *корней*. Значит, мы подходим к корням реальности. Заглядываем туда, где коренится смерть, ночь, тьма, туда, где мы — как человечество -- находимся, с точки зрения логики мировой истории. Это точка полуночи.

Корневой подход — это *радикальный нордизм*. Слово «радикальный» означает ни что иное, как «корневой» (по латыни «radix» -- корень»). Тот, кто обращается в поиски изначальных смыслов к корням Мирового Древа (на основе не более поздней семитической каббалистики, а гиперборейской кабалы), тот занимается таким замечательным делом как радикальный нордизм.

Русские древесный народ

Нормальный русский человек живет только в дереве. Когда он рождается, он тут же оказывается в древесной люльке. Проводит свою жизнь в деревянной избе. Носит древесные ботинки — лапти. Всё это вместе составляет *цивилизацию дерева*.

Наши современные кожаные ботинки — от цивилизации степи, от кочевников. Они — замечательные ребята, но *они — не мы*. Это степь. Поэтому всем предлагается оперативно распрощаться с ботинками из

кожи и перейти на нормальную деревянную обувь, поскольку иначе мы перестаем быть русскими.

Прожив свою счастливую жизнь в лаптях, избе и лесах русский человек умирает и попадает в гроб. Опять — *древесное* событие.

Сейчас, правда, не те гробы пошли. Те гробы, в которых сейчас хоронят новых русских — это подделка, в них невозможно толком умереть. Настоящий гроб должен быть долбленный, он должен быть из цельного куска, из ствола.

Старообрядцы такие гробы раньше заранее с юности заготавливали для себя — ведь их надо было обрабатывать, выдалбливать, это требовало огромного труда. О когда выдалбливали, то и с удовольствием спали в них. Во-первых, привыкали к тому свету уже на этом. А во-вторых, в них, говорят, снились потрясающие по силе, образности и живости цветов и сюжетов сны...

Идея долбленного гроба — это *возврат в дерево*, возврат к той стихии, откуда русский человек выходит, из дерева.

Мы любим деревья. Мы — люди древесные, «радикальные» люди. Поэтому мы любим «древность» и предпочитаем жить в «деревнях». Все эти корни — «древность», «деревня» — происходят от «дерева». Так мы подходим к древу жизни, познанию добра и зла, к Мировому Древу, которое и определяет, что есть жизнь, а что есть смерть.

Смерть как доброе начало

Обратим внимание на то, из каких «буковых», древесных корней состоит слово «смерть». В нем основными являются две буквы: «м» и «р». Два фундаментальных знака, два иероглифа. Две темы для осмысления. Всю жизнь можно думать о букве «м» и букве «р». И

нужно думать. От этих букв образуется целый ряд таких значений, как «море», то есть влага, та вода, которая течет у корней Мирового Древа, mater — мать, и также древнейший центр примордиальной цивилизации Мо-Уру, от которой пошли и мурома, и Мурманск, и Илья Муромец, и племена маори, и гора Мория в Библии, и другие описания сакрального центра в различных традициях.

Откуда в русском слове «смерть» появляется «с»? У нас есть слова «мертвый», «умер», которые и так достаточно осмысленны, «м» и «р» здесь присутствуют. Откуда же «с-мерть», почему не «мерть»? С точки зрения лингвистики, буква «с» так же, как и европейское «h» означало когда-то «благой». Например, слово «солнце» образовалось от древнего индоевропейского корня «ил» и «с» — «с-олнце». Стало быть, и «смерть» — «с+мерть» — это не (быть) «вместе с мертвыми», а «благое Мо-Уру», «эв-таназия», дословно по-гречески — εὐ ταναςία — «благая смерть». «Танатос» — смерть, и «ев» — благой.

Таким образом, смерть для русского человека несет в себе нечто успокаивающее, что-то душевное, что-то свое, что-то благое.

Смэртъ и живот

Когда мы противопоставляем «смерть» и «жизнь» друг другу, когда мы начинаем мыслить в этих категориях, используя русские слова, то делаем две фундаментальные ошибки.

Во-первых, говоря о смерти, мы используем мягкое «м», произнося гласную «е». Во-вторых, мы говорим: «жизнь».

Оба слова являются абсолютно варварскими и кощунственными. Потому что, правильно говорить «смэртъ». В древнерусском языке разделялось «е» и «ять». «Ять» произносилось как «е», а обычное «е», которое писалось как «е», произносилось как «э». У старообрядцев-

беспоповцев сохранилось до сих пор как наонное пение, так и правильное различение этих двух звуков — «е» и «э». Поэтому, на самом деле, следует произносить не «смерть» — это уже искажение, профанизм, «никонианство» и «петровские реформы» — а «смэрть». Такое произношение возникает не от плохого знания русского языка, а наоборот, от фундаментального, хорошего его знания.

Но и «жизнь» — уже абсолютно явная натяжка, потому что никто никогда не говорил «жизнь». «Жизнь» — это абракадабра. В символе веры это поздне-болгарское заимствование, искусственно сконструированное, чтобы различить жизнь души (собственно «жизнь будущего века») и жизнь в обычном смысле (по церковно-славянски «живот»). Но первые переводы «Библии» на древне-славянский употребляли слово «живот» во всех случаях.

«Живот» и «смэрть». Вот что надо обсуждать. Так что «жизнь» и «смерть» — это уже слишком удаленные от изначального значения звучания понятия. Это уже Пушкин, а значит, совсем не то. Если мы хотим мыслить в категориях радикального нордизма и древесной деконструкции, то должны ставить на первый план «живот» в качестве того, что мы сегодня понимаем под жизнью в ее наиболее фундаментальном, корневом значении.

Конечно, невозможно здесь отделаться от мысли, что живот — это тот «мессир Гастер» (у Рабле), который лежит в основе борьбы энгастромитов и гастролятров. Это тема замечательного Грасе д'Орсе, писавшего о том, что все люди делятся на два тайных ордена — «энгастромитов» и «гастролатров». Одни поклоняются господину Животу, другие являются страшными, смертельными и заклятыми врагами господина Живота. В данном же случае речь идет о пузе («gaster» на латыни — «желудок»), а не о «животе» в русском его понимании.

Итак, «живот» и «смэрть» — это не «жизнь» и «смерть».

Жизнь жжет – смерть морозит

Другое этимологическое значение слова «жить», «житие» — это «жечь». «Жизнь жжет». Жрецы, осуществлявшие жертвоприношение, *зажигали*, предавали огню то, что нужно было «пожрать» какому-то идолу или богу. «Жрать» -- означало сжигать перед идолом некие сакральные подношения. Вот, что такое «жрать» изначально. Потом это слово потеряло свой первый замечательный, фундаментальный смысл.

«Смэртъ» связана с *морозом*, с покоем, с холодом, поэтому жизнь — это жар, а «смэртъ» — это бытие на морозе, в холоде (у студенца истления).

Три парадигмы

Всё это надо понимать исключительно в оптике трех парадигм. Если мы не будем рассматривать все аспекты, которые мы изучаем, через три парадигмы — премодерна, модерна и постмодерна, то наши слова будут просто бессмысленными пузырями. Людей, которые отрицают методологию трех парадигм, — премодерна, модерна и постмодерна — надо расстреливать, так же, как тех, кто отрицает весомость и абсолютность геополитики. Вообще, пора вводить новые догмы. Сталин спокойно вводил и говорил, что теперь у нас будет диктатура пролетариата, товарищи. Тех, кто был несогласен, тех не осталось. Тот, кто не согласен с тремя парадигмами, их тоже не останется. Не должно остаться.

Среда предания, среда разрывания и среда разорванности

Меня давно подмывало найти этим трем парадигмам эквивалент в русском языке, потому что премодерн, модерн и постмодерн — это европейские термины, каждый из них требует от русского искусственного усилия, настойчивого осмысления с учетом латинских корней, знакомства с европейской историографией и отчасти метафизикой истории. Сейчас я предложу три формулы, которые являются, по моему убеждению, русским выражением сути трех парадигм.

Парадигму премодерна, традиционного общества следует назвать *средой предания*. Здесь преобладают естественные органические связи. Предание как *передание*. Связь — это основное качество того, что передается, потому что предание — латинское *traditio* — это «то, что передается». *Tradere* — «передавать».

Есть *среда разрывания*. Это — модерн. Потому что основная задача парадигмы модерна — это *рвать*. Речь здесь идет о том, для чего каббалисты использовали определение «разорвать сады», «отрывать деревья от их корней». Под модерном подразумевается «среда разрывания», понятого как дпящееся действия. Среда, смысл которой заключается в процессе разрывания. Модерн рвет связи (предания), но еще не разорвал их полностью.

И далее: что такое постмодерн? Это -- *среда разорванности*. Там, где разрыв произошел, — это постмодерн. Там, где разрыв происходит, но еще не произошел(!) — это модерн. Когда разрыв происходит, когда еще есть что рвать, мы имеем дело со средой среда разрывания. В постмодерне уже рвать нечего. В этом его специфика.

Категорический императив Артюра Рембо

Когда Рембо сказал: «il faut etre absolument moderne», он имел в виду именно это. Поэт может издавать общеобязательные декреты. Это все равно, как если бы он сказал: «всем немедленно сдать мне 25% от ваших доходов». И всем ничего не оставалось бы как нехотя понести ему деньги. Вот с такой же безотзывностью, неотъемлемостью и суверенитетом Рембо в «письме ясновидящего» -- la lettre du voyant (причем он был убежден, что это письмо никто никогда не найдет и не опубликует) писал: «Il faut etre absolument moderne». Гениальная фраза, абсолютный императив, подразумевающий, что «надо рвать». И он рвал. Посмотрите на его жизнь.

Различие между разрыванием и разорванностью

Диалектика среды разрывания и среды разорванности — это очень сложные отношения и чтобы осмыслить ту тонкую грань, за которой мы живем в постмодерне, или которую мы вот-вот перейдем, следует понять, что этот переход является *самым существенным* из того, что когда-либо с нами происходило. Не поняв его, мы не поймем ни себя, ни жизни, ни мира, ни смерти, ничего. Поэтому здесь принципиально важно подобрать синонимы для описания того процесса, который связывает или разделяет, различает между собой *среду разрывания и среду разорванности*.

Поясню это на двух примерах из разных областей. Так, святой апостол Павел говорит в одном из своих посланий: «ничтоже бо совершил закон». Это означает следующее: несмотря на то, что закон и его эра был, он признается Православием именно как закон, но свою функцию он выполнил и он его эра завершилась. Он сделал все, что можно было в его рамках, но его полномочия остановились там, где проходила граница, определяющая его сущность, делающая его именно законом,

а не чем-то еще. И в рамках этого закона исключалась сама возможность обожения — отношения между Творцом и тварью определялись логикой приказа/повиновения в рамках модели Господин/раб. И за эти рамки в пространстве закона выйти было невозможно. Когда заканчивается эпоха закона, начинается эпоха благодати. К закону в этой фразе — «ничтоже бо совершил закон» — нет однозначно негативного отношения. Закон здесь принимается. Но он принимается как нечто предшествовавшее тому, что декларируется сейчас. Это очень принципиально. И как только наступает актуальное, прежнее оказывается недействительным. Таким образом, применяя сказанное к парадигмам модерна и постмодерна, можно сказать от лица постмодернистов: «Ничтоже бо совершил модерн». Это означает, что, в принципе, модерн не отменяется как интенция разорвать всё. Но он, оставаясь в рамках себя самого, т.е. модерна, совершить это неспособен. После осуществленного разрыва реальность вступает в радикально иное состояние. Вот это состояние и есть *среда разорванности*.

И второе. У Гегеля есть такое понятие — «снятие противоречия» или «присутствие в снятом виде». «Присутствует в снятом виде» — означает «наличествует». Но «наличествует» не само по себе, а как нечто позитивно преодоленное, как ребенок в снятом виде наличествует во взрослом. Взрослый не критикует себя как бывшего когда-то ребенком, не кается в этом, не опровергает это, но и не признает сейчас актуальность собственной детскости (если, конечно, взрослый нормален).

Жизнь, не знающая смерти

Итак, мы начинаем разбирать метафизическое понятие смерти в трех этих парадигмах или в трех этих средах: в среде предания, в среде разрывания и в среде разорванности. На изначальном этапе в среде

предания, в ее архетипически чистом состоянии – в ту эпоху, которую Генон называл «Примордиальной Традицией», — *смерть как таковая не существует, а существует только жизнь.*

Та *абсолютная жизнь*, которая не знает смерти, не является, однако, тем, что мы понимаем под «жизнью сегодня (в период, очень далекий от Изначальной Традиции), потому что «жизнью» мы привыкли обозначать нечто *противоположное смерти*. Если представить себе жизнь, *не противоположную смерти как иному*, это уже будет не *жизнь* (в нашем понимании). И соответственно, смерть, не являющаяся противоположной жизни как иному, уже не будет «смертью». Таким образом, в изначальном состоянии, в среде предания на ее первом этапе не существует не только смерти, но не существует и жизни как чего-то отдельного от смерти.

Смерть и жизнь определенным образом оказываются здесь синонимичными, поскольку оба эти явления находятся в состоянии полной имманентности по отношению друг ко другу. Это не совсем бессмертие, поскольку последнее требует опыта смерти, для того чтобы ее превозмочь (а это уже возникает гораздо позже). Здесь и смерть, и жизнь просто *отсутствуют*. И здесь нет понятий «здесь» и «там», «тогда» и «сейчас», а всё принадлежит «здесь». Представьте себе *такое «здесь», у которого нет «там»*. Представьте себе *такое «сейчас», у которого нет «тогда»*. И представьте себе такое «это», у которого нет «то». Есть только «это» как *абсолютное «это»*.

И здесь возникает принципиальный момент: когда мы видим «это» без «того», «сейчас» без «тогда» и «здесь» без «там» — это означает, что никаких *границ* в этом абсолютном существовании изначальной среды предания нет. И тем не менее, нельзя слишком банально, пошло рассматривать означенное состояние как абсолютную жизнь. Глядя на всё описанное, мы не можем его отождествить даже с абсолютной жизнью, или, с таким же успехом, с абсолютной смертью. Какова эта стихия, где нет первоначального разделения на жизнь и смерть, каково существование или бытие, где жизнь и смерть соприсутствуют или равнозначественны — мы даже представить себе не можем, но именно

эта имманентная сакральность и является той точкой, исходя из которой мы начинаем рассмотрение *генезиса судьбы смерти в мире*.

Да, мы в своем исследовании генеалогии смерти исходим из того момента, где ее нет. Но мы также исходим из того, где нет ее антипода — жизни. Поэтому, если нет антипода, жизни, то — в дуальном коде — у нас не получается банальной моралистической картинки, на которую постоянно пытается соскользнуть в наше сознание.

Острова Блаженных

Об этом интенсивном бытии, не знающем границы, не знающем смерти, повествуют древние мифы. Греки говорили о гиперборейцах — народе, живущем на Крайнем Севере, у которых полгода — зима, полгода — лето, и сообщалось, что они не знают смерти вообще. Гиперборейцы просто кончают самоубийством, когда им надоедает жить.

Древние кельты знали об Островах Блаженных, где живут бессмертные этносы. Китайцы рассказывали об Островах Бессмертных и о волшебном городе Ив, населенными мудрецами, чья жизнь длится вечно. Любопытно, что ива была сакральным деревом славянских племен. Мы-то считаем, что сакральное русское дерево — береза, на самом, же деле сакральным деревом для наших предков была ива, а береза была главным сакральным деревом древних тюрков.

Кто иной крадется изнутри

В определенный момент в рамках среды предания происходит фундаментальная катастрофа. В абсолютной жизни, где нет смерти, или может быть, в абсолютной смерти, где нет жизни, — в данном случае это абсолютно взаимозаменяемые понятия, — вдруг возникает *пятно*. И тогда огонь чистого гиперборейского бытия начинает *чуть-чуть затемняться*. Хотя это еще не ночь, еще не тьма, это еще не «иное», это еще не «там», это всё еще «здесь» и только «здесь». И пока мы говорим о Традиции, пока мы говорим о парадигме премодерна, о среде предания, мы всегда будем говорить, что всё-таки, в основном, всё остается «здесь» и «сейчас» в пределах абсолютно «этого». «Там», «тогда» и «того» пока еще нет, но уже что-то подсказывает, что в этом огне есть *примесь инаковости*. Иными словами, это уже не такой светлый огонь... Хотя это, безусловно, огонь, а не тьма или ночь. Это день, это небо, но может быть, уже *не такой дневной день, не такое небесное небо, не такой огненный огонь*. Пока еще не появляется «где-то там», но что-то становится *не так* «где-то внутри». Иначе говоря, внутри полярно-райского бытия *чуть-чуть смещаются акценты*.

Это самая большая тайна, загадка в истории бытия: *откуда берется этот необъяснимый отход на микроскопическое расстояние от той идеальной, сакральной имманентности, которая существовала в истоке среды предания?*

Здесь, как в океане света выделяется пятно. Это *смерть начинает проникать в то, что предшествовало жизни и смерти*.

Это происходило постепенно, очень медленно, не как единовременное событие. Смерть вкрадывалась в жизнь постепенно. Прошли очень долгие циклы, прежде чем сама среда предания вообще начала замечать, что что-то происходит. В описаниях ветхозаветных праведников, которые жили очень долго, но потом всё же умерли, на шестисотом, семисотом году их жизни начинает закрадываться первое подозрение, что *что-то не то*; что сейчас будет происходить что-то отличное от того, что происходило раньше. Это очень таинственные вещи. *На мягких лапах крадется смерть*. Она приходит не извне, она

приходит откуда-то изнутри и начинает менять картину среды предания.

Начало диалога со смертью в среде предания

Дальше начинается очень трудный для понимания процесс. Когда смерть приходит на кошачьих лапах — мягко, невидимо, незаметно для среды предания, — *жизнь начинает себя осознавать как жизнь*. Возникает первая мерцающая, а потом уже и реальная граница. Фактически мягко-мягко, незаметно из «здесь» появляется «там», наряду со «здесь». Из «сейчас» появляется «тогда», наряду с «сейчас» — при полном доминировании «сейчас». Из «этого» постепенно-постепенно начинает маячить, складываться, сгущаться «то». И тогда среда предания, общий смысл Традиции фундаментально меняет свой вектор. Это очень серьезное *метафизическое изменение*.

Традиция, предание изначально в своем центре несет опыт, единства, единение одного. Но постепенно, когда смерть, прокравшись, начинает выстраивать свои собственные структуры — познания, бытия, мировосприятия, — значение среды предания и вектор действия Традиции несколько меняются. Теперь предание не просто констатирует единство единого, *но объединяет разделенное*, осуществляет единство неединого. И *здесь меняется сама Традиция*. Среда предания была чем-то одним, самодостаточным, и вдруг она внутри себя начинает открывать зоны, территории, горизонты, просторы, плоскости, требующие совершенно специфического отношения, требующие интеграции, — а значит, они уже отпали, — требующие объединения, — а значит, они уже двойственны, — требующие включения в имманентный контекст здесь и сейчас, — а значит, они уже попали во время и в пространство. Таким образом, в определенный момент Традиция начинает *фундаментальный диалог со*

смертью, и этот диалог как раз и составляет сущность тех исторических сегментов Традиции, которые мы знаем.

Изначально Традиция ничего не знает о смерти. И вот это незнание о смерти составляет ее суть. Это и есть тот центр, от чьего имени действует Традиция. Именно он является осью и ядром среды предания. Это -- незнание, неведение о смерти. Неведение о смерти, когда оно сталкивается со смертью, или неведение о неединстве, когда оно сталкивается с неединством изначально будучи спокойным, умиротворенным, созерцательным, начинает становиться более «нервным», «агрессивным».

Традиция начинает понимать, что происходит что-то не то, поскольку ей приходится теперь соединять разделенное. До этого ничего не надо было соединять. А в какой-то момент стало надо. И жить-то до этого момента было не надо, так как умереть было невозможно. И лишь когда смерть прокралась сюда и сделала из «этого» «то», и сделала из «здесь» — «там», тогда-то и началась борьба с «там». Тогда Традиция стала агрессивной, стала заниматься интеграцией и собиранием воедино того, что уже этим единым не являлось.

Это уже совсем другая история. Здесь возникает *этика жизни*, а Традиция, среда предания впервые (до этого она не знала, что такое жизнь) *становится средой жизни* и начинает себя воспринимать *как жизнь, а не смерть*. И будучи жизнью, Традиция становится *живой Традицией*, до этого она была «предживой». *Традиция становится живой только тогда, когда сталкивается со смертью*.

Такая легкая победа над смертью

Изначальный подход к смерти у Традиции не вызывает большой, фундаментальной проблемы. Традиция, как жизнь, видит, что смерть

легко преодолеть, что та не является какой-то фундаментальной вещью -- отсюда и определенное брезгливое высокомерие по отношению к смерти. «Как легко соединить то, что отпало, — думает Традиция. — Как легко победить то, что претендует на самостоятельность, не будучи таковым, как легко реинтегрировать то, что прошло дифференциацию». Поначалу, действительно, *легко*, и я думаю, что та фраза Евгения Всеволодовича Головина, с которой я начал сегодняшнюю лекцию — «кто умер, тот никогда не жил», — относится к этой «дендистской» стадии живой Традиции.

Когда человек такой Традиции смотрит на смерть, он прекрасно понимает, что его это не касается. Это касается кого-то еще: люмпен-пролетариев, каких-то дебилов, обезьян, червей, свиней... Он не задумывается, кого это касается, ему это всё равно, он понимает только то, что его это не касается точно.

Смерть его не касается вообще, потому что он приобщен к живой Традиции, а значит, *он и есть жизнь*. И видя, что кто-то считает *иначе*, что кто-то поднимает лапки перед лицом смерти, когда она приходит, он недоумевает. Он говорит: «Вы что? Если вы поддаетесь уловке смерти, значит, вы не знаете, что такое жизнь. Не только не знаете после того, как вы умерли, но вы, значит, не знали об этом никогда. Вы умерли, значит, вы просто не жили. Вы — недоразумение. Мы не знаем вас. Вы — просто помеха, аберрация, индивидуум, брак, бракованная деталь». Это в его лице говорит *Традиция всем тем, кто умер*. Потому что представители Традиции действительно не умирают, они восходят на колеснице на небо, живут как хотят и сколько хотят...

Берсеркерская метафизика

Эта идея бравирования, дендистского презрения к смерти очень хорошо видна в воинском сословии. Почему воины так легко и с таким

удовольствием убивают или умирают? Потому что они точно так же уверены, что «кто умер, тот никогда не жил». Тому, кому *можно* отрубить голову, и это *его затронет*, *нужно немедленно* отрубить голову, чтобы он понял, что либо он ошибается, либо он вообще — недоразумение, чернь. Это -- берсеркеровская метафизика, и она принадлежит к тому состоянию, когда Традиция жива. Если Традиция жива, то она только *так* всё и понимает.

Начало серьезной войны: появление иранского дуализма

Но постепенно ситуация осложняется. И смерть из недоразумения, которое стоит исправить хорошей войной, пиром, ристалищем, аскезой, чудом или чем-то еще, постепенно становится *серьезным противником*.

И тогда Традиция как традиция жизни начинает *войну со смертью*. И война становится всё более и более серьезной, отражаясь в мифах, в религиозных моделях, в богословии, в новых типах религии.

Всё это пока ещё происходит в среде предания. Тот момент, когда война со смертью становится делом серьезным, утомительным, трудным, с непредсказуемым результатом, — а не таким дендистским, как в этой формуле Евгения Головина «кто умер, тот никогда не жил», — возникают совершенно новые мифы, культы, религии.

В первую очередь — это *дуализм иранской мифологии*, которая вводит зло и смерть в пантеон своих высших начал. К этому времени смерть отхватила *такой кусок* у мира, зло настолько подмяло множество онтологических реальностей под свой собственный контроль, что приходится с этим жить, считаться и воевать самым серьезным образом. Смерти теперь придается новый онтологический статус, новый метафизический вес.

Традиция говорит теперь: «да, мы — жизнь, мы молодцы, мы светлые, но вот эти ребята (черные, из области зла и смерти) — тоже *непростые* люди и с ними надо определенным образом считаться». У смерти появляются свои *армии*. До этого был пустяк, смерть была неким «зазнавшимся холопом». Тут же всё сложилось в соответствии с римской, патрицианской поговоркой: «Пошути с рабом, и он повернется к тебе задом».

Изначально смерть — это тот раб, с которым пошутили, и он возомнил о себе «Бог весть что». Но постепенно смерть становится всё более серьезным фактором. Его начинают признавать и с ним считаться. Ему придается статус *ограниченного суверенитета*. После того, как смерть оказалась институционализированной в онтологии, с ней начинается серьезная война. Эта война со смертью составляет *следующий этап* среды предания.

Смерть в монотеизме

Совсем серьезно смерть заявляет о себе в монотеизме. Смерть, безусловно, стоит в самом центре теологии во всех трех монотеистических традициях. Это уже не просто борьба жизни со смертью. Создается впечатление, что в монотеизме, в креационистской конструкции, в исламе, христианстве и иудаизме смерть распространяет свое влияние на всё. И заключается это в том, что между «здесь» и «там», между «сейчас» и «тогда» — а такое проведение черты уже *и есть* смерть, — возводятся гигантские теологические и метафизические барьеры.

Утверждается творение из ничто. Благодаря *creatio ex nihilo* это «ничто» вступает в мир как смерть, мир начинает быть тленным, человек — «яко трава, дние его яко цвет сельный тако отцветет». И, соответственно, он под механическую рубку смерти.

Смерть выступает на первый план, потому что вся жизнь делегируется только одному — Богу. Бог монотеизма живой, но дело в том, что эксклюзивность и абсолютность Бога лишает всех остальных какой бы то ни было жизни. *Собственной жизни у мира больше нет*, значит, этот мир мертвый.

Прозрение Гераклита

Это очень серьезная модель. Гениальный греческий философ Гераклит еще до прихода монотеизма предвидел, что вот-вот что-то подобное может и должно произойти. Один из его неподражаемых афоризмов гласит: «В смерти люди столкнутся с тем, чего не ожидают, и сильно удивятся». Представляете, как это звучало тогда, когда греческая традиция, которая была основана, как всякая среда предания, на том, что ничего страшного, фундаментального ни с кем произойти не может? К смерти греки относились точно так же: «Кто умер, тот никогда не жил». Это была полная континуальность существования между той и другой сторонами. Да, граница есть, но она преодолевалась легко. Поэтому пифагорейцы верили в метемпсихоз — переселение душ, а большинство не то что не верили, но просто *видели* посмертное существование матерей, родственников, с которыми общались, и периодически мертвые родственники приходили к ним пообедать, приносили какие-то вещи, что-то уносили с собой, ругались. Точно так же хоронили этих родственников, даже на Руси, недалеко от дома, под порогом, чтобы всегда были рядом, могли прийти, поговорить. На самом деле, никогда связь с мертвыми не прерывалась. И вдруг вбрасывается: «Нет, эта грань не такова, как вы думаете, там что-то удивительное, необычное, что-то такое, чего вы здесь не видели и не знаете». Это пророчество, провидение абсолютно *нового статуса смерти*, который она приобретет чуть позже вместе с институционализацией монотеистических религий, иудаизма, христианства, позже ислама.

Раскрепощенная смерть и двери

В центре монотеизма еще стоит бессмертие, поскольку почитая Бога, через причастность к божественной жизни, избранные, верные, могут ухватить это бессмертие себе, стать «богами второй категории». Но на периферии уже гуляет *раскрепощенная смерть*. Она находится на свободе, постепенно отхватывая всё больше и больше онтологических кусков и загоняя верующих в храмы. Смерть теснит, она постепенно отбирает себе всё, кроме святилища Божества. И когда люди выходят из святилища, они попадают уже не в вечно святое «здесь», а в профаническое «там». Стена храма теперь — *граница*. Как возглашает на службе дьякон: «двери, двери». Двери храма становятся фундаментальными, *онтологическими дверями*.

Мы помним, что древние не имели храмов, потому что священным было всё повсюду. Когда люди начинают строить храмы, они отделяют священное от профанного, *отделяют жизнь от смерти*.

Отныне гуляющая по периферии, уже не крадущаяся, а просто открыто расхаживающая о всюду со своей свитой, со своими армиями *институционализованный смерть* становится фундаментальным фактором существования.

Носорог поедает жизнь мира

Лотреамон в «Песнях Мальдорора» тонко предчувствует парадоксальные вещи и рисует фигуру «Креатора» (в конце «Песен» он появляется в виде носорога). «Креатор» — неоднозначный

персонаж — огромный, жирный вампир, вселенский червь, который всё пожирает. И обманывая человека ложными «моральями», бессмысленными сказками, он освобождает его от тех остатков жизни, каковые тот еще имеет.

Это очень жестокая, холодная, пародийная, но метафизическая констатация того, что происходит с балансом жизни и смерти в монотеизме. Живой Бог пожирает всю жизнь, берет ее себе, не оставляя всему остальному ничего. Всё остальное — мертво, сотворено *ex nihilo*, всё, что не *ex nihilo* — то Бог и есть. Таким образом, жизнь концентрируется в единственном. Не в единстве всего со всем, а именно *в единственном*. И собственно, жизни в этом тварном мире не остается места. Мир полностью отдается смерти. Он отныне есть прах.

Наиболее радикальные выводы из такого креационизма делают иудейские рационалисты, вроде Маймонида, и ханбалитский масхаб ислама, из которого вышли ваххабизм и салафизм. Один из самых ярких и глубоких людей, понимающих, что такое монотеизм, единобожие как торжество всепоглощающего умертвления, — современный мыслитель Гейдар Джемаль, учитель абсолютной смерти, чье учение многих пугает и отталкивает, но оно мудро, глубоко, ответственно и последовательно. Если быть мужественным, надо смотреть в глаза тому, с чем мы здесь имеем дело.

Очень точно схватил идею онтологии монотеизма Жерар де Нерваль в стихотворении «Христос в Гефсиманском саду». Он потрясающе пишет простые, но радикальнейшие слова, живописующие последнюю степень отчаяния:

«Всё умерло, я посетил все миры» (но там нет ничего)». («*Tout est mort. J'ai parcouru les mondes...*»)

Смерть в православии

Христианство делает своей главной философской, метафизической, сотериологической, эклисиологической программой *борьбу со смертью*. Для того, чтобы победить смерть, сам превысший Бог — жизнь жизни, Свет от Света — спустился в человеческое тело, пострадал на Кресте, пережил смерть, и только после этого он дает благодатный дар жизни тем, кто ему верен.

Как же выросло за период распространения монотеизма значение метафизики и структур смерти!

Мы начали с того, что вообще не знали, о чем идет речь. В условиях изначальной среды предания никто не подозревал о существовании чего-то подобного. Постепенно, через дендистское бравирование смертью — «кто умер, тот никогда не жил», — мы приходим к тому, что для преодоления смерти необходима не просто помощь Бога, которая дает человечеству подсказку, а необходимо воплощение самого Бога, Сына Божьего, его кенозис, его умаление, его страдание и его Крестная смерть. Ведь если смерть попирается только смертью Бога, какая же это должна быть серьезная и фундаментальная реальность, чтобы с ней можно было справиться только таким способом!

Брошены все силы, — всё, что было в онтологии среды предания, — на то, чего раньше вообще никто не замечал.

Эта напряженность борьбы со смертью представляет суть православной христианской традиции. Величие этой религии, этих догматов, формул, обрядов, которые составляют ткань христианства, ни с чем не может сравниться. Но насколько же была серьезна проблема, если ее пришлось решать таким способом!

Смерть в западном христианстве и деизме

В других формах христианства, кроме нашего Православия, всё идет как пописанному. Там не сильно ушли от Маймонида, и даже Джемалю, от ханбалитского масхаба, всё просто: Бог религии, теистический Бог Запада становится богом философов. Отсюда уже недалеко и до «Креатора» Лотреамона. Это — некая абстракция, утверждающая, что она жива, и доказывающая, что она дает право Декарту щелкать на счетах рассудка, как и что ему заблагорассудится. Жизнь доказывается возможностью проведения в черепной коробке западно-европейских недоумков простейших математических операций. Хороши же Бог, жизнь, свет этого западно-европейского христианства, если они доказывают свое существование тем, что кто-то что-то соображает в уме своем (пресловутый «bonne raison»): к примеру, что правый ботинок надо надевать на правую ногу, а не на левую (это знал даже Незнайка, который вообще ничего не знал). Это «сильный» Бог, Архитектор Вселенной, Часовщик Декарта и Ньютона, поправлявший орбиты планет. Такой Бог никак не может быть антитезой смерти. И понятно, почему он долго не протянул. И если какие-то «ergo sum» хотят нам предьявить в качестве доказательства, что это «живое существо», то они себе льстят.

Действительно, деистская вера -- вера в «бога философов», бога каких-то юристов, адвокатов, механиков, которые собирали приборчики, потом построили паровую машину и открыли человечеству глаза на жизнь -- продлилось позорно мало — до появления Фридриха Ницше, сказавшего: «Ваш Бог умер. Вы убили его». Хотя, «Бог» (даже такой худосочный как в западно-европейской культуре Нового времени) мог бы протянуть в таком состоянии довольно долго, если бы его не атаковала с поразительной настойчивостью наша старая знакомая – смерть.

Механистическая, деистская культура, сначала еще в содружестве с каким-то так называемым «Богом-часовщиком», а потом и без него

(невелика потеря) безусловно, была началом тотального триумфа смерти. Мир, функционирующий по логике метафоры часов — был мертвым миром.

Здесь мы постепенно переходим от среды предания к среде разрывания. В Новое время парадигма модерна вступает в свои права.

Среда разрывания – среда смерти (почти смерти)

Чем является смерть в парадигме модерна, то есть в среде разрывания? Ответ простой: *всем*.

Что такое среда разрывания? *Это и есть смерть*. Разрыв — это разрыв с Традицией, разрыв передачи изначального начала — где еще нет жизни, отдельной от смерти и смерти, отдельной от жизни. Потом, напомним, опять же в границах Традиции, возникает концентрированная жизнь, ведущая борьбу со смертью; концентрированное единение, ведущее борьбу с разделением; концентрированное «здесь», пытающееся включить в свои границы «там»; концентрированное «сейчас», захватывающее в себя «тогда». Но как только мы делегитимизируем *живую войну* жизни против смерти, как только мы скажем, что «и так всё хорошо», мы мгновенно обнаружим эти разрывы, которые накопили такую могучую инерцию, что две тысячи лет назад Богу пришлось воплотиться по собственной воле для борьбы со смертью, для ее преодоления.

И все же среда разрывания – это смерть, да не совсем, это *почти* смерть. Это — среда умирания и убиения, процесс умирания. Когда Ницше сказал, что Бог умер, он констатировал, что закончилось всё. Когда выбросили деистского бога философов западно-европейской культуры, фактически ничего не осталось.

Бритва Оккама вам не игрушка

Дальше пошла гулять (заготовленная загодя еще в Средневековых спорах номиналистов с реалистами и идеалистами) бритва Оккама — утвердился новый закон: все режут всех (*homo homini lupus*), всё стало разрыванием. Бритва Оккама призывает к отказу от двоения сущности. Иногда и обычные люди говорят (не ведая, что творят): «не надо двоить сущности». Когда вы слышите такую фразу, сразу бейте в лицо, в глаз. «Не надо двоить сущности?» «Сейчас я вам покажу “не надо”!». Если мы хотим жить, *то надо двоить сущности*, потому что жизнь — вторая сущность по отношению к мертвому телу, это душа, и люди, которые предложили взять бритву Оккама и срезать ей *universalia in re* и (Эуригеновскую) *universalia ante re*, попытались кастрировать бытие. Это самый страшный инструмент — бритва Оккама — из тех, что можно себе представить, поскольку это и есть ее *коса*, только изображенная в гносеологической проекции. Это основной инструмент борьбы с жизнью, то есть разрывания. Весь дух модерна — среды разрывания — заключен в этой фразе: «не надо двоить сущности». Люди, обращающиеся к этой фразе по недоумию, к сожалению, не поймут ничего, если им дать за это по роже; мягче сказать, если их за это «заушить» (как святой Никола Ария). Но если они всерьез за бритву Оккама, я думаю, что таких людей не жалко вообще...

Маленький человек

Мир модерна — это умерший мир. Но в нем еще есть смерть. Значит, он умерший, но не до конца. Раз еще есть чему умирать. Что-то в нем еще не умерло, недооторвалось и недоотрезалось, раз эта среда *разрывания*... Среда модерна имеет свою динамику — в ней нечто

агонизируете, приближается к смерти, но еще оживляется спорадическими всплесками последних квантов жизни. Эти остатки жизни на протяжении Нового времени все больше и больше сжимаются.

Трагизм этой агонии живо переживали классики русской литературы – Пушкин, Гоголь, Достоевский.

Вспомните Акакия Акакиевич из «Шинели» В нем почти уже нет никакой жизни, его жизнь перенесена на материальный предмет, оболочка, скорлупа (клипа в каббале) – шинель. И когда это последнее пристанище умирающей души рушится – шинель отбирают грабители – умирающий падает в бездну последней энтропии, крайнего, кремешного ничтожества... Или Евгений из «Медного всадника». Помните, как Евгений смотрел на медного всадника? Медный всадник был уже мертвый, а Евгений *почти* мертвый – в потоке он потерял то последнее, что соединяло его с жизнью. И когда медный всадник открыл рот и сказал: «Ужо тебе», они *поменялись с Евгением местами* — мертвое ожило, а его последний аргумент, который он нес в себе, что он живой, а памятник — нет, ведь это просто статуя, рухнул. И последнее бытие покинуло его.

А позже великий Гоголь, уже заглянувший дальше, в постмодерн, сказал, что последним носителем жизни будет Нос. Он предвидел, что человек не выдержит испытания пустотой разрыванием связей, у него украдут шинель, его зальет вышедшая из бетонных стен река, его посадят в карцер, у него отнимут всё, что у него было, и от него останется только Нос. И в Носу будет трепетать то последнее, что осталось от жизни.

Город Оккам

После того как Бог умер, маленький, съжившийся в своём неаутентичном Dasein человек или уже только его часть – Нос, трепещут, теснимые *метафизическим Санкт-Петербургом*. Я думаю, что Санкт-Петербург — это такой город, который построили специально, чтобы проиллюстрировать смерть Бога. Архитекторы этого города вдохновились бритвой Оккама. Там сегодня даже строят здание, посвященное Оккаму, двухлезвийное. Этот проклятый город можно было бы переименовать в город Оккама. Мы с покойным Курёхиным всё время думали, во что бы его еще переименовать. В официальной истории Санкт-Петербурга его всё время переименовывали. Пытались найти правильное имя.

Может быть, это *город Оккам*? Именно здесь так ясно и пронзительно ощущается привкус смерти, смерти еще по живому, смерти модерна, смерти маленького человечка. А может быть это город Шинель или город Нос.

Право на смерть

В чем состоит последний героизм в среде разрывания?

В том, что у человека модерна даже самого маленького остается последнее право, это *право на смерть*. И хотя он не может больше жить, но он все-таки *еще может умереть*.

Философ постмодернист Бернар-Анри Леви как-то с радостью сказал, что умер не только Бог, но и человек. И все ему вежливо похлопали. Действительно, это правильно. В модерне, в эпоху среды разрывания у человека было только одно право — право на гибель. Право на то, чтобы его затопило, право на то, чтобы у него отняли шинель, чтобы ему дали по голове кирпичом, чтобы его забрали в НКВД, чтобы его раздавили трамваем.

«Всякий человек имеет право умереть». Так гласил закон Нового времени. И вот этого права на смерть, права на то, чтобы тебя, как клопа, вдавили в стену, лишают нас сегодня конструкторы среды разорванности, архитекторы эпохи постмодерна. Вот какой замечательный мир наконец-то построен вокруг нас и как здорово в нем пребывать...

Мертвая жизнь: биос некрот

Итак, за средой разрывания наступает среда разорванности. «Ничтоже бо соверши модерн». Зато уж постмодерн по-настоящему всё совершил и завершил «всё». Теперь нет никакой жизни вообще ни в каком ее проявлении. Изъят из среды Акакий Акакиевич — катехон мира модерна. Евгения из «Медного всадника» смыло потоком, как и его любовь — чтобы лишить нарратив драматизма. Умер автор, как провозглашает Ролан Барт.

Возникает очень интересная тема, которую можно было бы обозначить как «постмодерн и смерть».

Это явление было пророчески предугадано православными богословами, сформулировавшими концепцию, которая так и называлась «биос-некрот» — «*мертвая жизнь*». Это понятие описывало явление, в полной мере реализующееся только сегодня. Эпоха постмодерна называется эпохой «великой пародией» («la grand parodie», как говорил Генон). Здесь происходят некие удивительные метаморфозы, открывающиеся нам как раз в понятии «биос-некрот».

«Биос-некрот» означает победу смерти над жизнью, которая является настолько тотальной, необратимой и абсолютной, что говорить о смерти в полном смысле слова в эту эпоху больше нельзя, потому что больше не осталось жизни, даже самой маленькой, гаденькой,

клопиной, насекомой жизни, которая могла бы сказать: «Коллеги, это смерть». Её нету. Некому сказать ночью, что это — ночь. Некому сказать, что всё кончилось, разрыв произошёл. Почему перестали рвать? Почему плюнули на то, чтобы сажать священников? Почему перестали цензурировать учебники, вписывая туда ахинею про обезьян, Дарвина, молекулы, атомы? Почему всем стало на всё наплевать?

Потому что уже нет никого. Всё. Задача осуществлена, она завершена. Всё соверши постмодерн. И теперь смерти как иного, — а она как раз была иным, — смерти как «там», как «тогда» больше нет, потому что она не «там», *она «здесь»*. Она — не «тогда», она — «сейчас». Она не «то», трансцендентное, она — «это».

Можно сказать, что человек постмодерна, живущий в эпоху разорванности, «бессмертен». Но в каком смысле? *Он больше не может умереть*. Его нельзя убить, повредить, потому что он уже поврежден и убит заранее. Ему нельзя умереть, потому что он *уже умер*. И смерть стала не внешним, а внутренним явлением по отношению к нему, *смерть стала его субъектом*. Это она говорит и действует через него. Вот что такое «биос-некрот».

Интересно, что в изначальном состоянии, в среде предания имманентность сверхжизни легко включала в себя смерть, не зная, не догадываясь о возможности ее темного развития. А сейчас произошло нечто обратное и симметричное: смерть включила в себя жизнь, интегрировала ее в себя до такой степени, что она даже не догадывается, есть она или нет. В эпоху разорванности мы не можем локализовать жизнь как нечто, что *отлично от смерти*.

Человек постмодерна перестает быть смертным, у него отнимают право на смерть, но он от этого не становится по-настоящему бессмертным, он становится *безжизненным*.

Что-то наподобие жизни в нем, тем не менее, остается,. Ведь он же как-то шевелится, пишет постинги в Live Journal, пьет, смотрит

фильмы, чистит зубы. Нельзя сказать, что жизни совсем в нем нет. Однако в человеке постмодерна жизни столько же, сколько было смерти в примордиальных существах, которых мы описывали в самом начале. То есть фактически жизнь в этой среде растворена, но она уже не *локализуема*. Назвать авторов Live Journal совсем мертвыми нельзя, но и живыми их точно не назовешь.

Радикальный Субъект

Всё описанное предопределено теми парадигмальными сдвигами, о которых было сказано прежде. Но помимо этих сдвигов есть особая инстанция, Радикальный Субъект – «корневой», «деревянный» субъект. Это очень русское понятие — «Радикальный Субъект». Он в лаптях, с гробом, в люльке, в избе...

Есть в нем что-то мамлеевское. В книге «Постфилософия» я изложил довольно простую схему относительно авантюры Радикального Субъекта в разных парадигмальных состояниях. В эпоху премодерна (среда предания) Радикальный Субъект находится в центре круга, в центре общества, в центре человека. Но он *не совпадает* с этим кругом. Он находится в центре, можно провести вокруг него этот круг, он -- субъект, он полностью согласен со всем, что его окружает и со своим центральным местом, со своей центральной точкой -- но он с этой точкой центра не совпадает. Этим он отличается от субстанции центра.

Король-свинопас

В эпоху модерна, в среде разрывания, Радикальный Субъект перемещается на периферию круга бытия, общества, культуры, на периферию человека. Он где-то слоняется в околочеловеческом маргинальном состоянии -- среди отбросов, революционеров, художников, людей третьего сорта, не влияющих на процесс фундаментального производства, не строит железную дорогу, коммунальные системы. Он пребывает в легком недоумении и полном ироничном несогласии среди террористов, алкоголиков, но всегда на периферии, хотя, опять же, *не сливаясь* с этой периферией. Его отличие от самой парадигмы модерна состоит в том, что и в этой среде Нового времени, он сохраняет свои внутренние качества точно такими же, как и в среде предания. Он будто заблудившийся ангел... Всё поменялось, среда поменялась, а он — нет. Как катехон, «удерживающий теперь», который будет взят «от среды». Я не

говорю, что Радикальный Субъект — катехон, но он в чем-то похож на него.

Главное, что здесь необходимо сказать: *среда меняется, Радикальный Субъект — нет*. Он меняет *свою позицию*, перестает быть в центре и оказывается на периферии. Но по сути он остается точно таким же, каким и был в среде предания. Это король-свинопас, прячущий свое королевское достоинство под жалкими лохмотьями холопа.

Но вам вовек не отыскать...

Но где же помещается Радикальный Субъект сегодня, в среде разорванности? Это самый серьезный вопрос.

Можно сказать так: вы ищете Радикального Субъекта в парадигме предания — ищите его в центре. Вы ищите его в парадигме модерна — ищите его на периферии. А если мы находимся в парадигме

постмодерна, *то искать вообще больше нечего, потому что всё равно вы его не найдете*. А впрочем, вы его и не ищите...

Тем не менее, Радикальный Субъект сохраняется в самом себе, перемещаясь тенью по парадигмам. Он в этих средах не утрачивает себя, не изменяется. Он остается абсолютно тождественным себе, каким он был на всех этих этапах.

Интересно, как относится Радикальный Субъект к жизни и к смерти в трех парадигмах.

В среде предания он и есть эта жизнь без смерти, где, в принципе, последняя отсутствует даже в виде намека. И может быть, бессмертие Радикального Субъекта только очень тонко различается с онтологическим, изначальным бессмертием. Эта разница состоит в том, что *его никогда не коснется та маленькая плесень, что рано или поздно утащит за собой среду*. Он никогда не примет дуалистические отношения со смертью, и если уж его принудят говорить на более простом языке, он будет изъясняться, как Е.В. Головин, такими фразами: «кто умер, тот никогда не жил». А может быть, еще более жестоко.

Что несет в себе радикальный субъект в эпоху модерна? Две вещи. Прежде всего, *он несет с собой смерть*. Он выступает как убийца, потому что люди, с его точки зрения, совершенно недооценивают значения жизни, и они должны понимать, насколько это ценно. Поэтому, доказывая им ценность жизни, он их убивает.

У Ницше в начале «Заратустры» есть такой пассаж: «Бледный преступник склонился. Он убил, а потом еще и украл. Злорадствуй и ликуй, красномордый судья». Почему ликуй? Потому что украл. Убил, а потом еще и украл, не выдержав того, чтобы просто так убить. Стало быть, если убил, но не украл, то убил без всякого смысла, без всякой

прагматики. Во-первых, красномордый судья не ликовал бы, потому что он убил бы его, а во-вторых, его некому было бы судить, потому что он был бы абсолютно невиновен. Невиновного судить невозможно. И в-третьих, он был бы Радикальным Субъектом. И когда Ницше сходил с ума и представлял себя Дионисом, он также представлял себя крупнейшими преступниками своего времени. «Я – Прадо, Я – Шамбиж», писал он друзьям в приступе последнего безумия. Эта идея ипостаси убийцы, возвращающего человеку вкус жизни — фундаментальная функция Радикального Субъекта. Он даже не воин, воин — более плебейская вещь. Тут же — холодный, непersonифицированный, неоплаченный никем, немотивированный убийца. Ангел-истребитель. Грозный Ангел.

И во-вторых Радикальный Субъект обращен к человеку модерна не только лицом смерти, но и лицом жизни. Однако эта жизнь настолько перегрета, что она страшнее смерти, по сути дела, это жизнь, разрывающая само разрывание. Это — не та жизнь нормального состояния Традиции, которая связывает разделенное, кое-как существуя по инерции в среде разрывания. Это особая жизнь, *разрывающая разрыв*. К ней лучше не приближаться, поскольку эта штука страшнее бритвы Оккама. Вы ведь знаете, как называется движение, любившее всё связывать: ликторские прутья, символизирующие 12 путей зодиака...

Радикальный Субъект в постмодерне

Что видит Радикальный Субъект, оказываясь в постмодерне? Он видит клонированного, мультипликационного Петросяна во всех, с кем бы он ни говорил. У него рябит в глазах от невозможности различать даже те игровые фигуры, которые он наблюдал в эпоху модерна. Он видит, что *все бегут врассыпную*.

Не только Радикальный Субъект покинул человеческий архетип и находится сегодня даже не на периферии, а *вне ее*, но и постлюди, люди постмодерна (Нос и его товарищи) *тоже покинули человеческое качество*, тоже вышли за границу – во тьму кромешную. Не только жестокий Радикальный Субъект стал нечеловеком, но и те последние люди, которые бродили со своими шинелями, тоже стремительно утратили это достоинство.

Ницше произнес некогда величайшую фразу, определяя Сверхчеловека: «Сверхчеловек — это нечеловек». Это самое страшное определение Сверхчеловека. Но этого нечеловека вы не найдете, взаимодействуя с нелюдьми, которые повсюду, от которых вы никуда не убежите, потому что они — везде. Если все рассыпались, рассеялись, прильнули к экрану, то Радикальный Субъект остался таким же собранным, как и был. А те люди (постлюди), которые рассеялись и выпали из своего достоинства, в принципе, уже не существуют. Зерно сеется, а шелуху бросают в озеро огненное. Озеро огненное — это единственное, что по ним плачет.

Закончить хочется по-зимнему, по-новогоднему из Рембо:

Н

Toutes les monstruosités violent les gestes atroces d'Hortense. Sa solitude est la mécanique érotique, sa lassitude, la dynamique amoureuse. Sous la surveillance d'une enfance, elle a été, à des époques nombreuses, l'ardente hygiène des races. Sa porte est ouverte à la misère. Là, la moralité des êtres actuels se décorpore en sa passion ou en son action. - O terrible frisson des amours novices sur le sol sanglant et par l'hydrogène clarteux ! trouvez Hortense.

Trouvez Hortense! Одним словом — «пылающая гигиена рас».

Сноски:

(1) См. А. Дугин «Четвертая политическая теория» М., 2008

(2) См. А. Дугин Гиперборейская теория и сакральный праязык человечества

(наследие Германа Вирта) М. 2008

(3) Там же.

Глава 8. Постантропология. Апокалипсис Юнга

(человеческое общество после кризиса: земной ад глазами социологии глубин)

Социология глубин

Общество состоит из двух частей – *надземной и подземной*. Надземная часть представляет собой *социум*, сферу рационального, «дневного» (*diurne*), где доминирует *логос* (*logoz*). Подземная часть есть темный подводный остров *коллективного бессознательного*, область ночи (*nocturne*), здесь правит *миф* (*miqoz*).

Некоторое время прогрессистская наука считала, что эти две части располагаются в *диахроническом* порядке – мол, в древности (и у дикарей, несчастных остатков – *residuo* -- древности) главенствует *миф*, а развитие цивилизации постепенно вытесняет его и заменяет логосом и социумом. Но эта оптимистическая конструкция продержалась недолго – в Западной Европе XVIII-XIX веков. Уже к началу века XX было открыто *подсознание*, где -- до сих пор и в полной мере -- царили вечные и неизменные *законы мифа*.

Работы Юнга развили теорию Фрейда и создали новую *топику человеческой психологии*. Уже Фрейд показал, что помимо «я» («эго») в человеке активно действует невидимое и вытесненное «оно» («это», немецкое «es», латинское «id»). Юнг же продемонстрировал, что нижний этаж «оно» уходит корнями в особую реальность, *общую* для всех людей. Коллективное бессознательное – одно на всех.

Последователь Юнга социолог Жильбер Дюран, опираясь на теорию коллективного бессознательного и архетипов, достроил психоаналитическую *топику до социологической* – заложив основы «социологии гоубин» или «социологии воображения». Так была открыта, изучена и описана вторая – *подземная* – часть общества, в фундаменте которой лежит миф.

Обычные социологи – от Вебера, Зомбрата, Дюркгейма, Мосса и Сорокина – описывали чаще всего *дневной социум* и его свойства, то есть *социальный логос*. Социологи глубин занимались социальными мифами или социологией мифа.

Исследование *связи* между двумя главными этажами этой топики – то есть между логосом и мифом – уже на первом этапе похоронило *рациональность понятия «прогресс»* (оказывается, это ничто иное как рационализация мифа о Прометее -- Ж.Дюран), а на следующем этапе привело к тому, что сам логос, как судьба западно-европейской культуры (от Платона через Декарта до позитивизма) оказался ничем иным как *особым изданием мифа* («асценциональный» миф у Башляра или режим «*diurne*» у Дюрана). Это открытие социологии глубин

(социологии воображения), с опорой на структурализм Леви-Стросса, историю религии (А.Корбена, М.Элиаде), психоанализ (Юнг, Адлер), рефлексологию (Бехтерев), современную физику и математику (Р.Том, В.Паули, Бурграв и т.д.) открыло совершенно иной взгляд на сущность, содержание, смысл, качество социальных процессов. Классическая социология, которая фиксировала многочисленные *сбои* логоса в обществе (взять, к примеру, принцип *«гетеротелии»* -- социологический закон, утверждающий, что «социальные процессы почти всегда достигают не тех целей, которые они перед собой ставят», опрокидывая причинно-следственную логику, в которую еще свято верили отцы-основатели социологии -- позитивисты Конт и Дюркгейм), через социологию глубин достраивалась до непротиворечивой и семантически полноценной системы. Огромный накопленный социологами-классиками методологический и документальный материал начинал играть совершенно по-новому.

Так, к концу XX века в общих чертах была сверстана «двухэтажная социология», где исследования социума (социального логоса) дублировались исследованиями «социального подземелья», «социального мифа».

Социальный логос

По своей профессии социолог призван заглядывать *по ту сторону* «общественного мнения», «расхожих представлений», «здорового смысла», то есть тех убеждений и идей, которые циркулируют в массах, в «большинстве», и составляют каркас «согласованной мудрости» (conventional wisdom). «Общественное мнение» никогда не сообщает истину целиком, оно находится *в промежутке* между тем, что соответствует (научной) истине и тем, что является чистой химерой, ничто. Еще Платон в «Государстве» так определял «мнение»: оно что-то нам сообщает, но что-то от нас скрывает, но всегда и во всех

случаях оно сообщает нам не то, что лежит на поверхности сообщения, то оно нас обманывает. Более прямолинейные американские специалисты по финансовым спекуляциям и играм на бирже сформулировали тот же закон более грубо: «the majority is always wrong».

Социологи, анализируя «мнение», извлекают из него, полускрываемую и полуоткрываемую истину, а также объясняют механизм и, в свою очередь, *смысловую* нагрузку лжи (умолчаний, эвфемизмов, проекций, переносов и т.д.). Совокупность научных истин и проясненный смысл и этиология заблуждений и лжи составляют объект классической социологии – *социальный логос*.

Пессимизм социологов-классиков: логос на грани катастрофы

Большинство крупнейших реконструкций (гранд-теорий) социологов-классиков фиксировало *тревожный* характер социальных процессов XX века. И сама идея о «прогессе», которая стала чем-то само собой разумеющимся в «общественном мнении», в определенный момент была распознана как *эвфемизм*, призванный скрасить предчувствие нагнетающейся катастрофы.

Большинство социологов и особенно Питирим Сорокин единодушно подчеркивали гедонистический, материальный, *чувственный* (sensate) современной западной цивилизации, и эта качество все глубже аффектировало в течение XX века «социальный логос». Материальные ценности – «одержимость экономикой», поиск эгоистической материальной свободы и наслаждения -- выдвинулись на первый план и подтачивали, разъедали структуры рациональной организации общества. Почти все социологии так или иначе предсказывали, что

социальному логосу Запада и всей мировой цивилизации, подпавшей под решающее западное влияние, вот-вот грозит катастрофа.

Особенно это ощущение усилилось в эпоху *постмодерна*, когда многие заговорили об «обществе спектакля» (Г.Дебор), «режиме симулякров» (Ж.Бодрийар) или «конце истории» (Ф.Фукуяма). Так, тот же Фукуяма говорил об «обществе разрывов», о нарастающем «дроблении социальных связей» и т.д. Социальный логос на глазах распадался, превращаясь в *нечто иное*, что пока схватывалось с трудом и требовало новых социологических методик для понимания и объяснения.

Некоторые (например Кастельс) робко предположили, что логос не отмирает, но переходит к новой форме существования – *сетевой*. Но это звучало не очень убедительно. В любом случае, с конца XX века классический социум стоит на пороге *фундаментальной качественной метаморфозы* – как говорили оптимисты, или *крушения*, что подозревали пессимисты (например, Шпенглер).

Социальный момент глазами социологов глубин: соскальзывание в ночь

Еще более настрожены к исчерпанному модерну были представители социологии глубин, которые в принципе считали катастрофой *переоценку логоса перед лицом мифа*, что по определению и изначально было чревато коллапсом и колоссальной инфляцией логоса. Не будучи противниками логоса, они лишь замечали, что гигантская переоценка одной половины общества (дневной) чревато возможностью *стремительного регресса* и падением в противоположную крайность – в регионы бессознательного (без всяких смягчений и промежуточных этапов). Таким стремительным падением в миф они справедливо считали европейские

тоталитаризмы XX века – нацистский режим (с его «Мифом XX века» -- который, правда, скорее жалкая и бледная пародия на миф) и СССР с его хилиастической попыткой построения «земного рая» (диахронически-тринитарный миф Иоахима де Флоры, пропущенный через Гегеля и специфически русский секатантский мессианизм).

Но *инфляция логоса* отнюдь не прекратилась с победой над фашизмом и после конца коммунизма. После того, как в 90-е возникла временная иллюзия того, что социальный логос нашел-то, наконец, свое окончательное воплощение в либерально-демократической американской парадигме (откуда глобализм и тот же «конец истории») и теперь будет длиться вечно (американские неоконсы попытались воплотить это в PNAC – Project for New American Century – «проект Нового американского века» и теории «благой гегемонии», «империи добра» -- *benevolent empire*), в 2000-е это стало все более сомнительным, а когда разразился финансовый кризис 2008 и к власти в США пришел черный демократ Барак Обама всем стало ясно, что предшествующая серия была не установлением вечного «нового мирового порядка», но последней агонией западно-центричного логоса.

С точки зрения социологов-глубин, речь шла о *коллизии двух мифов*, которые действовали на протяжении последних 3 столетий «в подвале» («подземелье») западно-европейских обществ (и тех обществ, которые подпали под их влияние).

Новое время и Просвещение дублировались подъемом *мифа о Прометее*, который вдохновлял и рационалистов и романтиков, и людей дня и поэтов ночи. Титан, трикстер, обманщик богов (ночь) Прометей (выступающий то как Фауст, то как Люцифер) нес людям огонь и знания (день). Мифом о Прометее вдохновлялись Шеллинг, Гюго, Гегель, Маркс, либералы и социалисты. Даже в фашизме – через ницшеанскиую призму «сверхчеловека» и вагнерианство-- он нашел свое своеобразное выражение.

Но с конца века XIX Прометей стал теснить *миф о Дионисе*. Отправляясь из декадентских салонов, он проник в культуру, а потом стал основным мифом работников СМИ (как правило, недоучек, пьяниц, развратников, накроманов и первертов – как метко замечает Ж.Дюран), сотрудников киноиндустрии и позже телевидения, интеллигентов, художников -- типичных людей ночи практически во всех обществах. Постепенно индивидуально-гедонистический стиль «журналистов», завзятых скептиков и противников любой рациональной организации (то есть врагов социального логоса), перенесся *на все общество*, которое стало обществом развлечений и наслаждений («общество спектакля»).

Дионис вытеснил Прометей (конец мифа о Прометее описан в великолепной ироничной книге Андре Жида «Плохо прикованный Прометей»). Но и сам постепенно утратил свою притягательность, свою *динамику и энергию* – декадентские перверсии элиты, имевшие в себе нечто стилистически привлекательное, превратились в омерзительное гниение разлагающихся масс, сползающих в ночь. Плебейские гэй-парады превратили изысканную атмосферу салонов Оскара Уайльда, солнечное помешательство Артюра Рэмбо или поэтический жест Аполлона Кузьмина в плебейский кич (еще одно значение выражения -- «не бросайте бисер перед свиньями»). Миф о Дионисе в свою очередь достиг точки насыщения и стал из источника свежести застойным стимфалийским болотом.

Цикл западной культуры подошел к концу. Постмодерн с его эпифеноменами – убедительная иллюстрация этого.

Как бы то ни было, социологи глубин ждут нового мифа (возможно, надеются они, это будет сбалансированный и интегративный *миф о Гермесе* – группа «Eranos», куда входили Юнг, Элиаде, Башляр, Корбен, Дюмезиль, Шолем, Дюран), но ясно понимают, что *европейский логос вот-вот окончательно соскользнет в ночь*. Честно говоря, что мне представляется довольно сомнительным, что эти замечательные люди, неогерметики, сумеют ударжать то, что падает или даже перевести паение в спуск...

Топика Юнга

Предшествующие соображения были необходимы для того, чтобы подойти к главной теме – к попытке представления о том, что ждет человечество *после того*, как постмодерн полностью вступит в свои права и социальный логос окончательно рухнет в *ночь мифа*. То есть нам интересно воссоздать картину грядущего в *ее социологическом измерении* с учетом тех структурных смысловых изменений, которые нам предстоит пережить (или не пережить, или не нам). На основании социологических реконструкций классических и неклассических теорий можно выстроить различные модели будущего, мы же остановимся на *психоаналитической топике Юнга*, озабоченного судьбой человека и пытавшегося как можно более непредвзято описать полноту человеческого фактора в его различных измерениях – на различных этажах. Прежде чем изобразить «социологию Апокалипсиса «красками Юнга, напомним основные параметры его топики.

По Юнгу человек представит собой сложную систему состоящую из нескольких полюсов. Основные из них: «эго», «персона», «анима/анимус», «тень», Selbst, («я сам»), добавим сюда фрейдовское «сверх-я» для полноты картины.

Мои «я» и моя маска

Человеком считается рациональный индивидуум, называющий сам себя «я». В психоанализе эта функция обозначается латинским термином «эго». Свойства «эго» -- рассудок, способность к

ментальным операциям, владение логическими структурами (или «пралогическими» – как у так называемых примитивных племен, дикарей), способность к саморефлексии и четкому отделению себя («эго») от внешнего мира, от «других» и «другого».

Обобщенный социальный логос есть коллективная проекция «эго», Фрейд называл это «супер-эго», «сверх-я». «Эго» всегда соотносится с «супер-эго», и это порождает систему социальных нормативов и определяет большую часть бытия «я».

В отношении других социальных «я» и в отношении *совокупного социального логоса* (сверх-я) «эго» выступает как *персона*, личность, маска. Между «эго» и «личностью» есть *зазор*. Он состоит в том, что у «эго» есть *еще одно измерение* – обращенное *внутри* него, которое отличает его от личности (персоны), полностью исчерпывающейся социально-логической функцией. У «эго» есть *психика*, у персоны ее нет (она тщательно скрыта и не учитывается). Психика «эго» дает о себе знать только тогда, когда персона начинает вести себя или чувствовать себя *неадекватно* в социуме или перед лицом «сверх-я» данного как норматив в морали и правилах мышления (психическое или ментальное расстройство).

«Я» обычно представляется единственным (как результат рефлексии логоса на физическую отдельность человеческого организма), но это *необязательно*, подчеркивает Юнг. Деформация логических структур, понижение ментального уровня (*abaissement du niveau mental*) или простое сновидение *легко размыывают сингулярность «я»*, его единственность и рассеивают по различным дробным «альтер-эго». В некоторых психозах это проявляется через голоса, реже через видения и иногда через видения самого себя. В некоторых случаях несколько «эго» могут приобрести довольно устойчивые формы идентичности («Доктор Джекил и мистер Хайд» Р.Л.Стивенсона).

«Я» у Юнга не является раз и навсегда данной константой, оно *плюрально*. Иногда Юнг говорит о «я» как об одном из комплексов психики на ряду с другими «комплексам».

Страна коллективного бессознательного и Selbst

Внутри «эго» начинается *пространство психики*. В ней есть разные пласты – близкие к «эго» (память, субъективная оценка действий, вторжения снизу – «инвазии») и более далекие от него – собственно бессознательное.

Бессознательное Фрейд назвал «es», «id», «оно». Сам Фрейд ограничивал бессознательное *индивидуальными* переживаниями и влечениями, как правило, сформировавшимися в младенчестве и даже в пренатальный период. Юнг же в знаменитом сне 1909 года, путешествуя на корабле вместе со своим учителем Фрейдом через Атлантику, увидел, что в бессознательном есть *еще более глубокий* уровень, где оно *перестает быть индивидуальным и становится коллективным*. Область коллективного бессознательного для Юнга стала центром его концепции (топики).

Коллективное бессознательное, по Юнгу, *у всех одно и тоже* и населено вечными мифами и архетипами. Этим коллективным бессознательным объясняются устойчивые сюжеты некоторых сновидений (великие сны), сюжеты мифов, сказок, религиозных видений, художественных произведений. Верно воспринятое и направленное к светлому выходу на поверхность, интегрированное, охваченное, принятое и сакрально превознесенное коллективное бессознательное Юнг называет термином *Selbst, self*, то есть «я сам».

Анимус/анима и их темный двойник

Далее. Между «эго» и коллективным бессознательным находится две главные промежуточные инстанции -- *animus/anima* (душа, которую Юнг делит по половой принадлежности) и «*тень*» (*umbra, die Schatten*).

Анимус/анима (как Серафитус и Серафита Бальзака) – это образ коллективного бессознательного, каким оно предстает в чистом виле мужскому или женскому эго. Юнг заметил в ходе своих исследований (в том числе клинических), что мужчины устойчиво гредставляют «бессознательное» («es», «id») *как женщину* (отсюда «анима», душа женского рода), а женщины -- *как мужчину* (отсюда «анимус», душа мужского рода). В русском языке соблазительно было бы использовать однокоренные слова «душа» и «дух», но они имеют иной устойчивый смысл (хотя имеют ли они сегодня вообще какой-нибудь смысл, хочется спросить себя?).

Еще есть «*тень*», преставляющая собой *темного двойника* «эго», который состоит из негативных продуктов диалога «эго» и коллективного бессознательного. Все то, что дневное сознание подавляет, исключает, репрессирует, выталкивает, цензурирует, не замечает в поползновениях, *поднимающихся из бессознательных глубин*, становится «тенью», образует ее структуру и своего рода «антиперсону» (симметрично противоположную персоне). Обобщение образа «тени» -- это *дьявол*.

Индивидуация как реализация Selbst

Очень важна у Юнга тема «индивидуации». «Индивидуация» это -- гармоничный и взвешенный – поэтапный и размеренный *перевод структур коллективного бессознательного на уровень логоса*. Правильно ориентированная жизнь человека есть *реализация Selbst*, то есть индивидуация. Только *в таком* случае «эго» выполняет свое

предназначение – *выпускает наружу в область логоса то, что лежит на уровне мифа.*

Юнг уточнял отношения между данными инстанциями своей топологии, нюансировал, пояснял детали, разгадывал загадки их диалектического соотношения. Вычленял диалектику данной структуры у пациентов и в произведениях искусств, в религиозных доктринах и философских теориях, в биографиях известных личностей и в предрассудках среднестатистических обывателей. Этому посвящено практически все его творчество.

Школа социологии воображения

Перенос юнгианской топики *на общество* (с некоторыми коррекциями) дает нам социологию глубин или социологию воображения, развитую преимущественно Р.Бастидом и Ж.Дюраном. *Социальный логос* (общественное сознание Дюркгейма) – это *обобщенное эго* (сверх-я). На другом полюсе – коллективное бессознательное (или *социальное бессознательное*). Между ними человеческое «эго», обращенное в сторону социума своей личностью (персоной), а в сторону коллективного бессознательного (ночной страны мифов) – своей психикой и с ее фигурами (анимой, анимусом, тенью).

Между коллективным сознанием и коллективным бессознательным существует *динамика*, так как в некоторых вопросах они *резонируют* и являются гомологичными, а в некоторых *диссонируют* и конфликтуют. Этим и обусловлена социальная кинетика (в том числе мобильность) и глубинное содержание социальных процессов. Индивидуум же, человек есть *момент* этой сложной двухэтажной диалектики – ночи и дня, *diurne* и *nocturne*.

Трехчастная модель социальной топики Питерима Соркина, выделяющего три типа социумов и социальных структур (идеацинную, идеалистическую и чувственную) на основании чисто эвристического подхода, получает фундаментальное обоснование в трех структурах архетипов Дюрана – «героическом», «циклическом» и «мистическом», которые являются прямой мифологической гомологией социологической конструкции Сорокина. Школа Дюрана – Центры Изучения Воображения – за 50 лет своего существования провела гигантскую герменевтическую работу по «мифоанализу» социологических систем, «мифокритике» литературных произведений или исторических хроник.

Сновидение мира

Теперь к экономическому кризису. Выше мы говорили, что велика вероятность того, что нынешний финансовый кризис есть выражение *гораздо более глубокого процесса* – падения социального логоса, размытого либо насыщением чувственными моментами (П.Сорокин), либо дионисийским мифом, ставшим достоянием оскотинивших масс (Ж.Дюран). В юнгианской системе этот процесс можно рассмотреть как «понижение ментального уровня» (*abaissement du niveau mental*). Допустим, что логические структуры «эго» и «сверх-я» рассыпались ниже критического порога. А это весьма вероятно, если учесть наблюдения как за российским обществом, стремительно деградирующем в интеллектуальном и нравственном смысле, так и за процессами, протекающими в западной культуре и политике. В этом случае нас ожидает магистральное *вступление человечества в режим ночи*.

В юнгианской топики это означает, что *мы спускаемся в коллективное бессознательное*. Это не просто нигилизм. Концепция ничто, nihil, принадлежит к порядку *логических* структур, способных абстрактно

представить себе чистую негативность по контрасту с чистым наличием. Но по мере размывания логики, кристальное ничто логического нигилизма предстает перед нами *не пустым, но наполненным* – наполненным ускользающими смыслами, сбивчивыми картинками, какофоническими звуками, не выстраивающимися ни в какую гармонию. *Нигилизм ночи полон звуков, цветов и фигур*. Только с позиции дня, это -- ничто.

Оказавшись ниже критической планки мы начинаем видеть во тьме. Ведь там всегда есть предметы, которые *еще темнее других*.

Тут мы подошли к юнгианской версии посткризисной футурологии.

Социальный логос пал. Либерализм, успешно победивший всех своих логических и идеологических конкурентов (теократию, монархию, фашизм и коммунизм), *не справился с ношей социального логоса*, не смог в одиночку отстоять порядок дня перед лицом надвигающейся со всех сторон и *изнутри* него ночи (последней попыткой была имперская авантюра американских неоконков). При этом предшествующие логосы им безнадежно развенчены и сметены.

Дневной характер либерализма относителен. Возможно, он победил именно потому, что предлагал *самый мягкий из порядков*, самый ненавязчивый из логосов, самый компромиссный и толерантный из инструментов дневной репрессии ночного бессознательного. Но теперь он волей-неволей *остался перед лицом хаоса один на один*, причем того самого хаоса, на который он ранее и опирался.

Если текущий экономический кризис (а экономика – это суррогат порядка и логоса для либеральной цивилизации) окажется финальным, то произойдет *фундаментальное опускание «ментального уровня человечества»*, мир погрузится в сновидение.

Каким оно будет?

Новые акторы постантропологии

Слом «эго» и «сверх-эго», их опрокидывание в темную жидкость психоза, выведет на авансцену *новых акторов*. Этими актерами будет уже не класс (как в коммунизме) и не раса (как в национал-социализме), и даже не индивидуум (как в либерализме) – все эти социальные идеологии были основаны на специфических *логических* системах и параллельно с ними на довольно внятных ночных структурированных *мифах* – но *фигуры бессознательного*, оставшиеся от эпохи световой доминации логоса. Это будет *режим постлогоса*, который введет в действие *постантропологию*.

Основные фигуры отношения эго к бессознательному приобретут автономность и станут замещением «эго». Человечество услышит «голоса».

То, что эго современного человека становится динамичным, плюральным, игровым, произвольным можно увидеть повсюду – смена профессий, место обитания (новый номадизм), смена полов, ник-неймов, появление дублей и клонов (вначале в литературе, фильмах и компьютерных играх, но завтра на практике) становятся обычным делом. Жизнь приобретает все более ироничный, игровой характер. Цикл сокращается – смена семей, партнеров, друзей, стран и занятий убыстряется с калейдоскопической скоростью. Все чаще люди меняют пол, и эти операции проводятся уже не по одному разу – побыл женщиной, надоело, стал мужчиной, потом опять женщиной и т.д. Но после определенной черты – мы едва ли ее строго заметим – растворится *сам концепт индивидуальной идентичности*, принцип свободы разьет «тоталитарные оковы» индивидуальности, в человеческом атоме обнаружатся *отдельные составляющие* (электроны, протоны, кварки), которые затребуют себе «новой свободы» (бельгийский писатель Жан Рэй предвосхитил это в рассказе «Рука Гетца фон Берлихингена»).

И вот в этот момент мы столкнемся с серией очень интересных явлений и пришествий, определяющих панораму *постантропологического пейзажа*.

Пришествие «тени»

Одним из главных действующих лиц «юнгианского Апокалипсиса» будет «тень». Фантазии о самостоятельности «тени» (у Андерсона и в народном фольклоре) -- известный сюжет, неоднократно обыгранный в литературе, в театре и опере. Так как «тень» -- синоним дьявола, то можно сказать, что этот же образ совпадает с широким и разнообразным описанием темы «антихриста» или «пришествия сатаны». Точка зрения Юнга отличается от религиозного богословского взгляда на эту проблему тем, что рассматривает – в духе «апокатастасиса» Оригена – фигуру «дьявола» как относительно негативную. По Юнгу, в «тени»-«дьяволе» копится все то, что было отброшено «эго» в процессе *неудачной индивидуации* – т.е. в ходе перевода коллективного бессознательного и его архетипов в сфере логоса. Поэтому дьявол не самостоятелен и первичен, но лишь символизирует совокупность человеческих неудач и результатов трений со «сверх-эго», которые, в свою очередь, связаны не столько с индивидуальными погрешностями, сколько с диссонансом и конфликтностью социального логоса (включая религиозный и моральный аспект) с мифологическим комплексом, лежащим *под* основой общества. «Тень» -- недавший *Selbst*. Но и дьявол был когда-то ангелом света, но у него не задалось...

«Тень», которая обнаружит себя в ближайшее время, не обязательно должен рассматриваться только как «дьявол» христианской религии. В социальном и психоаналитическом смысле – это будет просто «остаток» («*residuo*»), в каком-то смысле суррогат *исчезнувшего «я»*, и перед лицом недифференцированного коллективного

бессознательного эта фигура для многих покажется «спасительной соломинкой», так как по уровню идентификации она будет *выше* плещущего *еще ниже* мифологического хаоса. Поэтому для постчеловечества «тьень», как образ, сохранившийся от исчезнувшего «эго», будет представлять собой определенный *соблазн*. «Тень» не будет выступать врагом человека (тем более, что человек уступит к тому времени место постчеловеку); он будет выступать *врагом недифференцированной бездны нерасчлененных сновидений*.

Какой будет «тьень» в ее пришествии? Это сложно представить, так как социальный пейзаж существенно изменится. Крах логоса не отменит науку, а точнее технологию, поэтому расстворение индивидуума вполне может сочетаться с инерциальным продолжением технологического прогресса. Поэтому «тьень» может прийти *в свите машин и аппаратов*. Но это не будет сингулярное человеческое существо или группа существ. Это будет нечто, напоминающее облако, туманность, мыслящую туманность, которая сможет принимать различные идентичности, имена, виды. Но эти образы будут несколько смутными, как в тумане. Едва ли «тьень» предстанет в форме чудовища, скорее – в виде воспоминания, томной и плотной *мечты*.

Это один полюс.

Операция Альрауне

Другой фигурой «юнгианского Апокалипсиса» станет развоплощенная *Женщина-анима*. Это будет не человеческая женщина, а *женственность* в ее собирательном, грезовидческом аспекте.

Здесь стоит остановиться на идее анимы у Юнга подробнее. Анима у Юнга – это не образ женщины, основанный на животном инстинкте и похотливом наблюдении за женским полом, и даже не на генетической

памяти, как представляет себе это фрейдизм и материалистическая психология. Это -- создание *чисто мужского эго*, которое через анима структурирует отношение *со внутренним другим* (но в тоже время *тем же самым*), и структурируется само, проецируя далее это отношение *вовне* – на *другое и то же самое* теперь уже в рамках вида (это женщина в социально-гендерном смысле).

Мужское эго не знает ничего о женском эго, не хочет и не может об этом ничего знать. Оно лишь проецирует на подходящую социально-биологическую материю *живой образ*, в котором говорит обращенное к нему коллективное бессознательное («es»). Внутренняя анима и внешняя женщина для мужского эго (логоса) – строго *одно и то же*, причем анима *первична*, а то, что в реальной женщине не соответствует аниме мужское эго не замечает, отвергает, цензурирует или ненавидит. Все это прослежено психоаналитиками на миллионах примеров.

Если мужская анима тяготеет к фигуре «мелузины» (водной феи-женщины-рыбы с хвостом и без гениталий), то несоответствие внешних женщин этому стандарту будет поставлено в вину им, а не своему образу (в котором, кстати, нет ничего патологического – он гармонично и плотно вписан в сакральный лексикон великих сновидений).

Параллельное исследование проводил Леви-Стросс, изучая структуры родства. В мифах многих индейских племен, как и других народов Африки и Меланезии, шире, всего мира, есть тема «*правильного масштаба брака*». Чтобы показать, что правильно, миф показывает, что *неправильно*. Так, есть бесчисленное множество устойчивых сюжетов о браке с животными (Маша и медведь и т.д.), с духами, с демонами и ангелами («Книга Еноха»), с предметами, с чудовищами. Это -- *слишком дальнее* родство. Это значит, что эго слишком замахнулось на дальние горизонты бессознательного и, как правило, сказки предупреждают, что ничем хорошим это не кончится.

Слишком близкое родство, это -- инцест, табуирование которого лежит в основе всех известных социальных структур за редчайшим

исключением (зороастризм, легализовавший и даже предписывавший инцест и практика еврейских саббатаистских сект в Турции – см. М.Маффесоли). В отношении анимы это означает, что «эго» *слишком приближает* к себе коллективное бессознательное, что чревато растворением или принимает за него свои собственные «эготические» проекции, что ведет к стерильности или порождению монстров, есть впадению в область «тени». «Тень» есть совокупность табу, которые человека так и подмывает нарушить.

Здесь встает вопрос: а *откуда берется мужское эго*? Разные социологи, философы и психологи дают разные ответы. Марксистский социолог Бурдьё, например, считает пол *чисто социальным явлением*, то есть эго наделяется мужским качеством исключительно *социумом*, «диктатурой сверх-я», а на практике -- через педагогику и структуризацию семейных отношений. По Бурдьё, если мальчика воспитывать девочкой и относиться к нему как к девочке, он будет девочкой, и его эго и его персону будут полноценной *женской личностью*. На этом основана современная гендерная толерантность и западное толкование прав человека. Человек есть *tabula rasa* (так утверждал Локк, классик либерализма), на которой общество пишет все, что пожелает. Так же считал Маркс.

В любом случае, можно предположить, что не пол души (анима-анимус) зависит от того, каким является эго (мужским ил женским), но наоборот, *пол души по обратной логике предопределяет гендерную принадлежность эго*. Анима приводит к бытию эго мужчины, чтобы сделать гармоничным процесс индивидуации бессознательного – вывода его на свет логоса. И наоборот, *анимус экстраполирует себя в область логического через женское эго*, чтобы осуществить всю ту же индивидуацию. Замечу, что все эти соображения относятся только к юнгианской теории, согласно которой у души есть гендер.

В любом случае, осмысление определенной автономии души, наделенной полом, позволяет нам *визуализировать фигуру Анимы*, которая, вероятно, встретится нам по ходу развития мирового финансового кризиса. *Эта женственность без женщин* или *помимо*

женщин вполне сможет проступить через серии архетипов, которые будут -- либо диахронически, либо синхронно -- манифестировать себя в виде *гигантских женских фигур*, темных безобразных старух, фей и ундин, русалок и саламандр, в виде женских стихий – воды и земли, напрямую. Пластическая фантазия распадающегося социального логоса придаст образам технические или виртуальные формы. Причем неважно, появятся ли эти *фигуры Анимы* путем сбоя в процессе клонирования или как результат развития визуальных иллюзий тоталитарного экрана. Самое интересное в этом не технология явления Анимы, а его философский смысл: *социальный логос последние тысячелетия был преимущественно мужским*; разлагаясь, он выплеснет из себя *последнюю женскую фантазию* – как, по легендам, семя, пролитое повешенным порождает мандрагору или *альрауне* (см. прекрасный роман Г.Х.Эверста «Альрауне»).

Когда мы мыслим о женственности без женщин, мы хотим подчеркнуть, насколько *анима связана именно с мужским эго*, а значит, и постантопологический полюс анимы будет связан скорее с *исчезающими мужчинами* и их тонущим «я», нежели с женщинами, которые с логистической точки зрения удалятся в особую *экзистенциальную нишу*. Какую -- мы сейчас рассмотрим.

Анимус

Если анима есть порождение чисто мужского эго, то *анимус есть порождение эго чисто женского*. Того мужчины, которого конституирует женская мечта – то есть мужское облачение es – никогда не существовало и не существует. Это не мужское эго, это нечто совсем иное. Сказочный принц, благородный рыцарь, герой – эти образы порождает женщина и населяет ими культуру. *Женщина создала мужчину*. В прямом смысле – она его родила, и в переносном – она его *придумала*. Мужчина придуман женщиной в трех формах – как

младенец, как герой и как мудрый старец-учитель. Это -- три инстанции бессознательного. *Puer ludens*, гомункулус, лилипут, играющий и смеющийся ребенок, -- интимизация бессознательного, которое женское эго способно обнять, понять, заключить в себя. Муж-герой – это бессознательное в той форме, с которой можно вступить в экзистенциальную схватку, чтобы поставить на кон свое *бытие* (реальных мужчин, которые заслуживали бы этого, просто не существует). И наконец, старец-учитель – это бессознательное в форме смерти, которая фиксирует динамику женского эго и вмораживает его в лед вечности. Такие мужчины живут только в психике женщины и оттуда попадают в произведения искусства. Талантливые феминизированные художники считывают тонкие складки женских грез и вводят их в культуру. И уже только оттуда -- в качестве *пэттернов* – черпает их мужское эго, совершенно другое структурно и стилистически, стремясь соответствовать социальным нормам, диктатуре «сверх-эго» и поддерживать статус персоны.

Ослабление этого давления культуры приводит к тому, что мужчины превращаются в то, что мы видим сегодня вокруг нас, и отчего женское эго отшатывается с отвращением – злобные визжащие сопливые младенцы; свиноподобные, похотливые (в лучшем случае) трусливые и жадные мужики; глупые охамевшие старики, накопившие за всю жизнь только сварливость и вредные привычки. Социальные проекции женского духа ранее ткали образы мужчин-героев и навязывали их в качестве стандарта. Когда эта работа ослабла, -- в сегменте социального логоса, за который отвечали женские личности в эпоху патриархата, - все рухнуло, вокруг только странные и неопрятные существа нетрадиционной ориентации – *freaks and geeks*. *Патриархат был продуктом экстраполяции женской фантазии.*

Так кем же станет *Анимус без мужчины*? Это будет фигура последнего выброса женских энергий, солнечный герой, сверхчеловек, невинный как ребенок, жестокий как мужчина и мудрый как старец. Женский диалог с бессознательным выпростает последний залп эротической энергии в летающую золотую фигуру. Она будет эфемерной и быстро растворится, так как при отсутствии социального порядка (от

которого будут на поверхности плавать лишь остатки, *residuo* – например, сотрудники ГИБДД, которые легко переживут исчезновение смысла и логики в вещах) Анимусу *не в чем будет закрепить свою волю к власти*. Это будет вспышка абсолютной зари метафизического «фашизма», который обозначит себя на горизонте, но как молния расстает в надвигающейся ночи.

Однако, кто знает, может быть, даже мгновенное созерцание рождения и исчезновение Анимуса будет зрелищем, которое – иллюзорно -- удовлетворит *великое женское ожидание*.

Радикальный Субъект

Еще одна фигура имеет место в посткризисной (анти)утопии. На сей раз, это персонаж не из арсенала юнгианской топики, но из постфилософских интуиций «новой метафизики». Речь идет о Радикальном Субъекте, описанном схематично в «Философии традиционализма», «Постфилософии» и в моей новой книге «Радикальный Субъект и его дубль». Не являясь юнгианской фигурой, он может быть, тем не менее, описан в терминах «юнгианского Апокалипсиса».

Радикальный Субъект -- это осуществление вывода архетипов коллективного бессознательного на свет дня по модели, *отличной* от того социального и культурного логоса, который доминировал в цикле известной нам человеческой цивилизации. Радикальный Субъект – *альтернативный логос* (точнее, *логос в потенции*, несущий в себе множество логосов), который разделяет с известным нам доселе логосом его *дневную* природу, но относится к коллективному бессознательному и мифологическому фундаменту общества (культуры, цивилизации) *иным способом*, и поэтому генезис прежнего

(старого) логоса из мифоса для него изначально был *сомнителен*, если не сказать фатально неверен.

С философской точки зрения, ближе всего к этой модели теория «Ereignis» Хайдеггера, которую он разрабатывал с 1936 по 1944 год.

Радикальный Субъект способен к индивидуации в любых условиях, так как он оперирует с логосом *не как с актуальностью, а с логосом как с потенциальностью*, то есть в той сфере, которая лежит между коллективным бессознательным (мифосом) и его сгущением в актуальность логоса – но *прежде*, чем это сгущение станет необратимым. Это растворенный логос, пра-логос.

Радикальный Субъект – это реализация Selbst в ее безусловной и освободной от всех обстоятельств форме, и в такой реализации психика не участвует, так как речь идет о нуминозных (по Юнгу и Отто) горизонтах духа в чистом виде – по сторону психических вод. Своего рода «сухой путь».

Финальная композиция

Писатель Мамлеев в свое время точно написал в заглавии одного из рассказов «Мы готовы ко Второму Пришествию». Это правильно.

Какой будет комбинация полюсов постантропологии?

Теоретически и следуя формальным симметриям, это будут *четыре динамические постиндетичности*, относительно автономные – тень, анима, анимус и Радикальный Субъект. Можно предположить, что тень-дьявол постарается расширить свою область на максимально доступный ему горизонт – то есть на аниму, анимуса и Радикального Субъекта.

Как происходит редублиция Радикального Субъекта, то есть становление его дьявольского симулякра, я пытался описать в книге «Радикальный Субъект и его дубль», где под «дублем» имеется в виду строго то, что у Юнга называется «*тень*», но только в той апокалиптической и социологической перспективе, которую мы сейчас рассматриваем – «тень» макрокомса, а не микропсихологии. Резюме этой книги в одной формуле: отличить Радикального Субъекта от его дубля будет *непросто*, в этом метафизический нерв всей драмы мира (мир создан в свете телоса этого финального различения).

Валентность связи *тень-Радикальный Субъект*, кроме вшего прочего *придаст тени метафизическое значение*, и из инерциального останка рассыпавшегося логоса превратит его в «социально» значимую фигуру. Здесь, кстати, вполне уместна и *богословская модель понимания дьявола*, которая в отличии от психологической прагматики Юнга (с его опорой на гностиков), формирует в отношении этого персонажа верные пропорции – противодействия, борьбы, бегства, боя (если кто-то к тому времени еще останется «в своем уме» – ведь именно ум к тому времени не просто станет «не своим», но исчезнет, как исчезает дым).

Золотой Анимус, взлетающий с периферии женского горизонта в сиянии абсолютного (никогда не бывшего) фашизма, вероятно не будет иметь никакого отношения ни к Аниме, ни к тени. Так, тени он недоступен – в нем женское эго освобождается от самого себя и от своего греха, от своей тени, -- написал я, подумал, и решил несколько изменить предложение «в нем женское эго освобождается от самого себя *то есть* -- от своего греха, от своей тени». Женское эго и есть *тень*. Что тогда мужское эго? Может быть, просто недоразумение?

Как отнесется к развоплощенному Анимусу Радикальный Субъект, пока не ясно. И будет ли это вообще иметь для него какое-то значение...

А вот жидкую Аниму *тень* точно посторается захватить, включить в свою структуру, быть может по инерции памяти – память, как знают

современные физики, есть даже у материального вещества – тень увидит постантропологическую симметрию с исчезнувшим в никуда женским эго.

Еще одним -- пятым -- элементом будет *фон*, который можно описать как «возвращение древних богов» (формула Хайдеггера), подъемом коллективного бессознательного или *адам* в его этимологической форме, невидимое (аид) станет видимым (идеей, видом). В отсутствие репрессирующего логоса *все* мифы могут подняться *одновременно* – без всякого диахронического контроля и без всякого порядка (*Ordnung*). К этому христианское сознание также смело может отнестись так, как того требует религия. Но и в моральном строго религиозном смысле – у искушения не было бы никакой энергетике и силы над спасающимся человеком, если бы в определенный момент зло не приобретало бы *двусмысленные черты*, делающие духовный и нравственный выбор, различение духов во истину героической проблемой и великим подвигом, а не само собой разумеющейся социально-культурной банальностью. Когда зло приходит в обличие зла, его не так трудно отвергнуть. Когда оно рядит в нечто непонятное, но столь *насыщенное всем сразу*, то занять строгую позицию гораздо труднее – все кружится и сходит с мест, и невозможно отличить одно от другого. Зло энергично и действенно.

Будет ли это?

Это будет обязательно, так как в общих чертах такой сценарий записан в священных текстах человечества, с одной стороны, а с другой, современная социология, культурология, философия, аналитическая психология на своих языках и в своих терминологиях подходят к более или менее *сходной* картине. Будет непременно и именно то, что описано. Но весь вопрос когда точно?

Каждый сбой в истории цивилизации, каждая великая война, стихийная катастрофа, кровавая революция и бешеный цикл культурного, политического, социального, экономического и технологического развития потенциально *могут стать крахом социального логоса*, который явно и довольно давно достиг своей насыщенности, прошел основные этапы своего пути – то есть этот социальный логос уже «родился, женился и... умер». Ко времени Ницше это стало очевидно. Хайдеггер и Шпенглер, шире большинство консервативных революционеров Германии 20-30-х годов жили исключительно в этом *ощущении конца*.

На этой волне делалась и *русская революция* – по крайней мере, как ее понимали поэты, философы и люди искусства Серебрянного века (только они-то все и понимали правильно). Предложение пролетариату осознать себя как классовую идентичность (особенно в 20 годы), литература А.Платонова, поэзия Маяковского, Клюева, Блока уже предвосхищали постантропологические движения развоплощенных, разчеловеченных энергий. Русь-София Блока – Анима. Клюев вообще подробно описал географию коллективного бессознательного со скрупулезностью немецкого зоолога или землемера. Маяковский создал *поэтическую онтологию* классового существа. Платонов объяснил, как бытие живет и работает сквозь светлые коммуны – его герои едят землю (персонаж «Чевенгура», называвший себя «Богом»), перевоплощаются в Достоевского, упоительно и сладострастно бредят наяву Розой Люксембург и мировой революцией.

Если заглянуть поглубже в историю – то что переживала Русь в эпоху раскола, а Европа во время Реформации, вполне можно было отнести к тому же разряду – мир кончался, социальный логос трещал и валился, из-под глыб выползали гигантские фигуры неукротенного подсознания.

Репетиций нынешнего кризиса было не мало, и культурно человечество к этому готово. То надувательство, которое мы называем *«современностью»* с его химерами и пустяками рано или поздно *должно было кончиться*. Поэтому все будет, и будет скоро, и будет

именно *так*. Правда, *как* мы не описали, потому что видим все открытым и готовимся в этом участвовать.

И все же есть вероятность, что этот лопнувший пузырь был не последним (а, к примеру, предпоследним). Хайдеггер метафизически удивлялся – «мы живем вплотную к точке полночи, нет, кажется, еще нет, всегда это вечное «еще нет»...

Но сколько бы ни срывались ожидания скорой развязки, это не значит, что ее не будет никогда. Она может затянуться, но посмотрите вокруг – все исполнено ее знаками. Может быть, еще раз отложится – пронесет, и эта мразь снова завеселится и зашевелится, почувствовав, что и на этот раз «все еще нет...». Допускаю, а вот *может и не отложится*.

Да хоть бы и отложились, надо жить – уже сейчас жить – только так, что не отложится. И вот тогда, когда будем жить по-настоящему, в упор к постантропологической развязке, *в* ней самой, пусть, предвосхищая события, тогда-то все и произойдет.

Будет, обязательно будет.

Глава 9 . ИЗМЕРЕНИЕ РАДИКАЛЬНОГО СУБЪЕКТА

Метафизика нашей борьбы

Каковы *метафизические цели* нашей борьбы? Мы видим, что НАТО — зло, нас возмущает американский глобализм, нам не нравится социальная несправедливость в нашем обществе, нам претит сковывание национальных энергий навязанными нам Западом неадекватных и разрушительных псевдо-ценностей. Мы с этим боремся. Но всё-таки должно быть что-то более значительное, чем эти вещи и наша на них реакция. Наша борьба не поверхностна, как чесотка. Наша борьба *фундаментальна* и подразумевает наличие колоссального числа онтологических «этажей», расположенных в глубинах бытия и ведущих к центру мира.

Итак, у нашей борьбы есть свои глубины, и свои высоты. И наша политическая практика представляет собой всего лишь точку пересечения этой метафизической вертикали с земным планом исторической актуальности. Это всего лишь одна точка, но она очень важная. Наша социально-политическая деятельность затрагивает небольшой фрагмент «поверхности». Но эта «поверхность» избранная, выделенная, так как это — Россия и средостение ее всемирно-исторической миссии (сегодня забытой, но обреченной на величие и мировой размах накануне финала истории человечества). Но самое главное все же — то, что находится *под* ней и то, что находится *над* ней. Описывая структуру нашей идеологии, было бы некорректно

умолчать о фундаментальных, метафизических аспектах нашей борьбы, нашей глобальной деятельности.

Это фундаментальная часть евразийского дела, метафизика евразийства.

Традиционализм и медитация о Полночи

Метафизика евразийства напрямую связана с *особой* трактовкой традиционализма.

Напомню основные принципы традиционализма. Традиционализм — это *взгляд на мир как на регресс*. Изначально существует *полнота*, и мир движется от полноты, от золотого века — через серебряный и бронзовый — к веку железному. Согласно традиционалистскому видению, мы живем *в конце железного века*, перед фундаментальным событием, которое в православии называется «концом времен», «Страшным Судом», в индуизме — «концом цикла» («махапраляя»), «концом кали-юги», в исландских эпосах, в древнегерманской мифологии — «гибелью богов» («рагнарекр»). Это *зимнее солнцестояние Бытия*. Многие периоды были ужасными в истории мира, но *таких, как сейчас, конечно, не было*. Никогда человечество не сходило так *низко* к свиньям, теньям, чертям и червям, утрачивая свое онтологическое достоинство. Та точка, к которой мы приближаемся, в традиционализме именуется не иначе, как *точкой Великой Полночи*. То, о чем я буду говорить — своего рода *медитация по поводу точки Великой Полночи*.

Главный смысл нашей борьбы — это, во-первых, *осмысление* себя в точке великой космической полночи, а во-вторых, — *разотождествление* себя с этой точкой. Пожалуй, это и есть основная

программа метафизического евразийства. Иначе ее можно назвать тематикой Радикального Субъекта.

Деграция

Основной тенденцией проявленного мира является процесс ухода, удаления Бытия (как говорил Хайдеггер). Бытие отступает из мира, оно прячется; сакральное, священное, божественное измерение скрывается за вуалью и так успешно маскирует себя, что человечество и мир забывают о том, что это сакральное, божественное измерение вообще когда-то *было*, начиная считать себя чем-то самодостаточным и автономным и без него.

Революция против Традиции начинается в эпоху Просвещения, в эпоху модерна, когда западно-европейское человечество вдруг обнаруживает мир богооставленным, и с этого момента назначает само себя «Богом», «Творцом вселенной», высшей инстанцией, способной выносить последние суждения о качестве реальности, о качестве человеческого и нечеловеческого бытия.

Фундаментальный вызов древней традиционной картине мира, содержащейся в традиционных религиях (причем не только христианской), был брошен Рене Декартом — французским философом, утверждавшим рациональный человеческий субъект единственной неоспоримой реальностью. А весь остальной — внешний по отношению к субъекту -- мир был признан им автономным объектом, чьи основным качеством по Декарту является «протяженность». После этого в рамках картезианской и ньютоновской философской модели развивается вся современная наука. Постепенно мы приходим к *абсолютно расколдованному миру*, где существуют только механические законы материи -- молекул, атомов, мертвых механизмов, с помощью которых объясняются жизнь,

мысль и т.п. Эти научные, философские модели сопровождаются развитием техники, современной светской культуры, и то кладбище, с которым мы имеем дело сегодня, весь виртуальный балаган — это результат огромной работы Просвещения по десакрализации знаний о божественно-религиозном начале и по их изгнанию из человеческого мира.

Феномен глобализации и постмодерна — это последняя стадия длительного и мощного процесса, последним результатом которого является окружающий нас кошмар.

Яйцо мира: что сверху то и снизу

Описание этого процесса деградации очень емко и точно представлено Рене Геноном в образе *Яйца Мира*. Генон описывает вселенную как «яйцо», у которого в *золотом веке*, в условиях традиционного общества верхушка открыта, а во Вселенную поступают световые лучи Божества, пронизывающие всю Вселенную, наполняющие ее высшим духовным смыслом. Пока Яйцо Мира открыто сверху, *ничто не равно себе*, каждая вещь находится на солнечном луче, возводящем ее к Божественному.

В индуистской традиции говорится: человек, идущий по берегу моря, глядя на солнце, видит дорожку, которая ведет от солнца *только к нему*, и когда он двигается, солнечная дорожка двигается вместе с ним. Так и в Яйце Мира -- каждая вещь и каждое существо находятся на окончании луча, выходящего за пределы этого Яйца Мира. Когда Яйцо Мира открыто сверху, это можно назвать «*эпохой премодерна*» (эпохой традиционного общества). Мир Традиции, который мы защищаем, который мы любим и который отстаиваем, безусловно, совпадает в эпохой, когда Яйцо Мира открыто сверху, когда божественное начало беспрепятственно взаимодействует с земным миром.

В механике Аристотеля, в христианской, исламской традиции, всегда говорилось о том, что небо соткано из особой духовной субстанции. Небо — это духовная энергия, а всё, что под ним, внизу является сгустком неба. По сути, грубой материальной земли там нет нигде — ни вверху, ни внизу. Земля — это лишь *сгущенное небо*. В такой картине «конверсия элементов» — от эфира через огонь, воздух, воду и землю, и снова через землю к воде, к воздуху, к огню — представляет собой замкнутый цикл божественного дыхания.

Это -- парадигма преמודерна, идеального традиционного общества, «золотого века». Древние люди, люди Традиции – т.е. эпохи открытого сверху Мирового Яйца – подобно словам Гермеса Трисмегиста, считали: *что сверху, то и внизу*. А значит, *не было никакого настоящего низа*, низ был зеркальным отражением высшего света . Поэтому не было и тех материальных, грубых и жестких вещей, которые мы знаем сегодня, всё было символом.

Это была экстатическая реальность, каковую сейчас сложно представить. Какие-то отголоски этой экстатической реальности мы можем переживать сегодня в случае предельного состояния влюбленности, чрезвычайного успеха, веселого (и пока еще идущего в вертикальном направлении) опьянения алкоголем или наркотиками. Мир обнаруживается в таких случаях перед нами как насыщенный глубокими, разноцветными, интереснейшими, вихрящимися энергиями. Мы смотрим на дерево, на бабочку, на травинку, на падающий снег и входим в состояние абсолютного экстаза. Приблизительно так, но гораздо более интенсивно и постоянно воспринимали мир люди, жившие в эпоху открытого сверху Яйца Мира, потому что небесный, божественный мир пронизывал всё — вплоть до нижнего мира. В таком мире не было грубых вещей, они появились позже, когда стал потухать надмирный свет. Изначально же они были просто сгустками солнечной небесной энергии. В эпоху открытого Яйца Мира сверху этот принцип — то, что сверху, то и снизу, — доминировал.

Закрытие Яйца Мира: что снизу, то и сверху

Эпоху материализма, Просвещения, Нового времени Генон уподобил *закрытию Яйца Мира сверху*.

В это период, в эпоху модерна возникла обратная формула: *что снизу, то и сверху*. Это утверждает Ньютон, отталкиваясь от ситуации с падающим яблоком, в знаменитом опыте, приведшем его к открытию всемирного тяготения. Ньютон фактически открыл и обосновал новую *гравитационную* Вселенную, где небесные предметы уже состояли из земной материи, а не наоборот. Ньютон утверждает: что снизу, то и сверху и тем самым формула Гермеса меняет свой смысл на противоположный.

Генон описывает эпоху модерна так: Яйцо Мира закрывается и никакие трансцендентные энергии во Вселенную больше не проникают. Вещь становится равной самой себе, и всё приобретает утяжеленный материальный характер. В этой ситуации мы все находимся под «скорлупой» и божественное начало от нас отделено непроницаемой стеной верхней преграды. Этот мир и называется миром современности, парадигмой модерна, эпохой Просвещения. Именно этим кичится западное человечество, именно это оно навязывает как колониционный код через военные, политические, культурные и информационные стратегии всем остальным – включая те народы и цивилизации, для которых Яйцо Мира до сих пор остается открытым сверху. Запад, закрывший Яйцо Мира сверху для себя, постепенно закрывает его и другим. Это и есть метафизическое содержание модернизации, установления нормативов модерна в глобальном масштабе.

В этом состоит для традиционалистов и евразийцев *абсолютное зло* современной западно-европейской культуры. Конечно, в определенный момент истории объективные космические условия *располагают* к такому закрытию Мирового Яйца сверху, но тот, кто восхищается этим,

празднует, кричит, что «Бог умер, мы убили его», как безумный у Ницше, тот не просто трагически фиксирует затягивание сверху этого небесного отверстия Мирового Яйца, но и помогает заложить его как можно большим количеством бетона, цемента. Преступно не столько само закрытие Мирового Яйца, хотя это огромная трагедия, а само появление тех, кто этому радуется. В «Евангелии» об этом говорится следующими словами: «Извращение должен прийти в мир, но горе тем, через кого оно придет».

Представьте себе, что близкий вам человек умирает. Да, мы можем возмущаться, страдать, печалиться, сетовать на судьбу, но он умирает. И тут сидит какая-то сволочь и говорит: «Как хорошо, слава Богу, он подыхает, свинья, туда ему и дорога!» Плюет в него, гадит на смертный одр... Чем-то подобным и является вся современная западно-европейская культура. Одно дело — Ницше, который плачет, безумствует, провозглашая: «Бог умер», мучительно ищет выхода... Или в «Бесах» Достоевского Кириллов говорит, что «если Бога нет, то всё позволено, и в конце концов, тогда я — Бог!» Вот это действительно полноценное по трагизму и напряжению сил души переживание того, что Бог умер. Совсем другое дело энтузиазм взбунтовавшейся черни — каких-то безумных изобретателей паровых машин, строителей паровозов, пароходов, которые убивая Бога, пляшут на его костях свой омерзительный танец прогресса, технологического развития, самодовольства, социального освобождения, толерантности, прав человека и прочих мертвых омерзительных псевдо-ценностей, приравнивающих человека к объекту и еще претендующих на то, чтобы строить наше общество максимально «разумным» путем. Всё это строительство планетарного концлагеря духа. Не только либералы создают эти концлагеря и поощряют геноцид своими действиями, от этого не далеко уходят и коммунисты. *Всё, что пропитано современностью — это всегда гравитационный карцер: ЧК, пытки и издевательства над самой тонкой субстанцией мира, над солнечным духом, который действительно становится пленником этой гравитационной вселенной.*

Постмодерн: Яйцо Мира открывается снизу

Эпоха модерна, представляющая собой закрытие Яйца Мира сверху, заканчивается примерно в конце XIX века, когда она входит в свой апогей, а в конце XX века наступает третья эпоха, когда *Яйцо Мира открывается снизу*. Ей точно соответствует понятие «постмодерна». Модерн заканчивается, уже никто больше не верит в Дарвина, в обезьяну, молекулы, атомы... Всем наплевать — обезьяна, свинья, человек, Терантино, клон, репликант или виртуальный двойник. Генон называет это вторжением «орд гогов и магогов», проникающих в среднее пространство Яйца Мира из-под нижней скорлупы и начинающих разъедать ткань реальности. Генон в «Царстве количества и знаках времени» говорил о таком явлении, как *великая пародия*, когда наступают открытость и отсутствие четкой фиксации какого-то конкретного предмета относительно себя самого, расплывается даже материалистическая естественно-научная идентичность объектов. Тогда дает о себе знать демонически изворотливая многомерность предметов — ироничных, мигающих, заставляющих себя потреблять, требующих, чтобы их снимали. Жан Бодрийяр говорил применительно к тому явлению о *семиургии* — производстве знаков и брэндов вместо производства товаров. Это эпоха, когда в Большом театре можно поставить сорокинских «Детей Розенталя», скабрёзную, фекально-порнографическую пародию. Теперь классические нормы закрытого Яйца Мира, где была своя модернистическая, просвещенческая культура, исчерпаны. Начинается эпоха постмодерна -- не то что бы хаоса, но точнее назвать ее периодом «*демонического вторжения*».

Если раньше, в эпоху открытого Яйца Мира, человек был больше чем человек, носителем Божества, открытой чашей Божества, то в эпоху закрытия Яйца Мира он превратился просто в человека со всей его «оптимистической трагедией», со всей гаммой чувств, со всей экзистенциальной обреченностью смерти, но он был всё-таки оставался человеком. Он был оторван от Бога, богооставлен, но продолжал оставаться центральной фигурой великого рассказа

современности. Этот человек страдал, любил, умирал; он был смертен, но он осмыслял свою смертность, за которой ничего не было (и перед которой, строго говоря ничего не было); он осознавал свое трагическое место в мире. И хотя традиционалисты и ненавидели этого автономного человека, он, тем не менее, вызывает определенное уважение. Хотя бы потому, что на смену ему приходит нечто более ужасное, постчеловек — мгновенный сосуд демона, след армий «гогов и магогов». Человек (точнее постчеловек) отныне не вместилище Бога, но коллектив бесов, бесовской ансамбль, где каждый играет совершенно не связанную ни с чем мелодию, которую по сути дела никто не слушает; и в этом какофоническом пространстве случайных визгов, скрипов, скрежетов рождается глобальная цивилизация, «новый мировой порядок».

Когда мы включаем любой современный информационный канал, мы, в принципе, не понимаем, что там происходит, поскольку структуры понимания разлагаются потоками взаимоисключающих, противоречащих друг другу интеллектуальных элементов; и то, что нам показывают, только укрепляет нас в чувстве полной растерянности и неясности. Концы с концами не сходятся — ни в информационных потоках, ни в нашем сознании, силящемся их осознать, но лишенных для этого элементарных навыков. Сами постмодернисты называют это «бесовской текстурой». У телепрограмм нет настоящего автора, есть только коллектив каких-то снующих балбесов, которые носятся с кассетами, судорожно копаются в интернете, что-то снимают, что-то монтируют. И поскольку времени на телевидении всегда нет, его *всегда меньше, чем надо*, в последний момент ставят тот кусок, который под рукой, а не тот, который хотелось. В результате хаотической деятельности выходит не та программа, которую задумали (часто изначально довольно невнятно и сбивчиво), но, что получилось по факту. Чему посвящена программа, сам ведущий подчас уже не успевает сообразить, поскольку надо быстро выходить в эфир. Сверху требуют одно показать, снизу — другое, кто-то приносит cash на «джинсу», отсчитывает. В конечном итоге, анализ любого события, например, приезда американского президента, представляет собой полную неразбериху с точки зрения медийности, поскольку сегодня

никто не обучает людей расшифровывать и понимать контекст. В результате — полное непонимание зрителями того, что говорит диктор, ни сами диктором того, что он сам и говорит.

Отсюда в постмодерне у людей может возникать ложное ощущение, что всё действительно *очень смешно*. Поэтому на всех каналах огромное количество Петросяна или еще более чудовищный уроды — вроде «Камеди клуб» (но это запредельный идиотизм, не поддающийся самому смелому анализу). Петросян, который смеется — это предельно несмешно, но поскольку это несмешно, люди смеются уже над тем, кто так несмешно шутит. Потом, поскольку везде шутят только несмешно, это становится привычкой. Человек переключает каналы и от какого-то разделывания трупа переходит опять к Петросяну и его жене в кожаных брюках, с удивительным взглядом, гипнотизирующим такой магнетической тупостью, что действительно «смешно» становится. Я сам иногда то КВН посмотрю, то Петросяна для взбадривания.

В чем-то мы, русские, всегда впереди. Вот и теперь то, что у нас творится, с точки зрения вторжения «гогов и магогов», не имеет прямых аналогов в культуре ни одного из государств мира. И США, и Европа гораздо дальше от того законченного состояния одержимости и финального безумия, в котором находимся, к сожалению, мы.

Ризома

Итак, постмодернистская культура, в принципе, связана с канонизацией такого стиля. Она утверждает, что *человек закончился*. И если Ницше говорил в эпоху модерна, что Бог умер, то сейчас говорят, что умер автор, умер человек, но остались машины-желания, то есть примарные инстанции выработки влечений, причем влечений хаотических, неконцентрированных, без всяких табу, без всяких целей,

плывущих, расползающихся под поверхностью, как клубни картофеля – это Делез и Гваттари называют «ризомой». Ризомное существование представляет собой описание *демонической экзистенции*.

Делёз и другие постмодернисты также любят говорить о «теле без органов», поскольку они считают, что органы — это «фашизм», слишком «тоталитарное» и «нетолерантное» явление, слишком напоминающее государственную бюрократию — один орган за одно отвечает, другой — за другое. Это якобы подавляет изначальную хаотичность телесности и терзает ее диктатурой рассудка. Поэтому надо *освободить тело от органов*, сделав его плоским, как экран, как шкура, покрытая эрогенными пятнами, на которые наводятся лучи и она вздрагивает. Это поверхностное поле всеобщей, всепроникающей, но не концентрированной сексуальности — является единственным содержанием ризоматического бытия, которое оживляется фрагментом рекламы и мгновенно гаснет, чтобы тут же вспыхнуть картиной потребления гамбургера или какого-нибудь бренда в рамках телевизионных лучей. Это и есть ризоматическое существование, в котором нет субъекта. Смерти субъекта является одним из программных пунктов постмодерна.

Антихрист, дадджал и «эрев рав»

С точки зрения традиционализма, речь идет не о чем ином, как о наступлении царства антихриста, мусульмане говорят о царстве Дадджала, и даже в иудаизме — в очень сложной религии, которая подчас оказывалась на некоторых этапах по ту сторону традиционализма, на стороне современного мира, и есть учение Виленского Гаона о так называемых «эрев рав» — «народах великого смешения», которые в конце времен придут и захлестнут мир. Эти «народы» относятся к тому, что называется «клипа Иакова». Каббалистическое учение о клипотам, то есть скорлупам, говорит о

том, что есть вещь, а есть ее скорлупа. Вещь — это смысл, а скорлупа — это ее мертвая оболочка. Эрев рав, как клипа Иакова, и означает ту часть еврейства, которая перешла на сторону темного, хаотического начала, на сторону современного мира, модерна, и ортодоксальные евреи в конце времен должны сразиться с эрев рав, способствовавших смерти первого Машиаха. Каббала знает двух Машиахов: страдающего и триумфального. И Машиаха страдающего по некоторым каббалистическим текстам убивает как раз эрев рав.

В нашей православной теологии антихрист является тем, кто убивает свидетелей Апокалипсиса, а в исламской эсхатологии Дадджал-лжец ведет борьбу с подлинными мусульманами. Даже в буддизме есть определенный элемент эсхатологии относительно демона Мары и окончания эпохи духовного правления нынешнего Будды Гаутамы. Будущего Будду, чей приход ожидают буддисты, называют Майтрейей. В индуизме говорится о конце Кали-Юги. Современные индусы утверждают, что мы живем в конце этого периода, когда все ожидают спасителя-избавителя в лице Калки — десятого Аватары — божественной нисходящей реализации. Бог Вишну, согласно индуизму, воплощался в рыбе, в черепахе, в карлике, в Парашураме — Раме с топором, в Кришне, в Будде, и последний раз он должен воплотиться в войне Калки, который положит конец Кали-Юге, веку глобальной зимы.

Сейчас по всем признакам религиозных традиций мы живем в этом *эсхатологическом периоде*. И наглядным выражением этого является расцвет постмодернистской культуры, глобализм, либерализм, индивидуализм, всё то, что распространяет Запад на весь мир. Всё это закономерного (с точки зрения самой логики священной истории) *царства антихриста*, который разлагает последние основы даже того убогого человеческого материального мира, который существовал в рамках Яйца Мира, закрытого сверху.

Когда она стала кошкой

Иногда мы начинаем задумываться: *почему* же происходит этот процесс, и *почему* всеильное Божество попускает сначала закрытие Яйца Мира сверху, а потом открытие его снизу? *Почему* Высший Принцип, представляющий всемогущество, вечность, бесконечность, благость, высшую субъектность допускает такую деградацию человеческого существа от богочеловека до обычного человека, а потом уже до одержимой бесами скотины, которую представляет собой современный человек?

Постмодернисты как раз и видят идеал освобожденного человека в животном, приобретающем первые проблески разумности. Это, к примеру, *умная кошка*. Кошка с определенными элементами человеческого интеллекта, с элементами компьютерного сознания, довольно развитого. Ее утверждения абсолютно произвольны, она то сидит на столе, то спрыгнет, постоит, потом опять на стол запрыгнет. Что ею движет, что она делает? Это непредсказуемо. В этом есть животн-демоническая логика, ускользящая от человеческого рассудка. Представьте, что эта кошка начинает впервые задумываться о каких-то философских вещах, но пока еще избегает «диктатуры» сложных структур сознания... Это и есть *постмодернистский идеал человека*, деградировавшего до уровня зверя, или зверя, пробудившегося к человеческим началам. Постмодерн предвещает скорую эпоху зверства, впрочем, вполне «гуманного», ведь кошка не производит на нас впечатления людоедки; она, конечно, достаточно хищное, жестокое существо, но в тоже время очень мягкое, ласковое. Эта мыслящая, говорящая кошка представляет собой прообраз существа постмодерна или постчеловека. Неслучайно у мгновенно вспыхнувшей и тут же исчезнувшей певички Маши Ржевской есть песня «Когда я стану кошкой». На самом деле то, что описывается в этой песне, уже произошло, *Маша Ржевская стала кошкой* и не только она, поскольку в постмодерне «мыслящими кошками», существами, ведомыми темными, смутными инстинктами, обладающими случайными элементами оставшегося (или появившегося внезапно) разума являются *все*. Ведь Маша Ржевская не обладает всей полнотой

интеллектуального арсенала, данного человечеству, а лишь фрагментарными его отблесками, которые случайно вспыхивают то здесь, то там в пространство ее скудного серого вещества.

Неслучайно об Антихристе говорится как о звере. Число его — число зверя. Вот это «то мега терион» — «великое зверство» или зверочеловечество, точнее, зверокомпьютеры — это и есть люди эпохи постмодерна.

Победитель Бога и ничто

Итак, *почему* же все-таки Бог, Высший Принцип, попускает божественному субъекту ниспасть до состояния человека Просвещения, представляющего обезьянью пародию на богочеловека, а потому еще ниже — до состояния наших современников? Тому есть множество объяснений. В юности, читая «Оседлать тигра» Юлиуса Эвола, я был заморожен приводимой там цитатой из Ницше: «Кто такой сверхчеловек? Сверхчеловек есть победитель Бога и ничто». Эта удивительная формула, казалось бы, не вписывающаяся прямо в тот контекст, о котором мы говорим, оказалась для меня центральной и предопределила весь ход моей мысли в дальнейшем.

В картине закрытия Яйца Мира сверху и потом открытия его снизу мы видим процесс растворения субъекта. Высшая субъектность, насыщенная божественным началом — это стартовая позиция, урезывание субъектности — это момент, когда Бог умирает, а субъект становится не божественным, а чисто человеческим, и дальше он и сам растворяется, когда, как тот же Ницше говорил, «наступает эпоха европейского нигилизма». Как только европейское человечество убивает Бога, Бог умирает, открывается бездна ничто, и в этой бездне ничто скользит маленький человек. Он отчаянно борется с

обступившей его тьмой, но не может выстоять. И начинается заключительный этап растворения субъекта.

(Это уже действительно зверочеловечество – все эти люди, едущие в офисы, сидящие в ресторанах, отдыхающие на курортах. И особенно молодые люди, пьющие пиво у станции метро. Они сбегают с уроков, выкручиваются перед родителями не ради каких-то действительно качественных молодежных действий, не ради экстатического опыта, опыта любви, приключений, романтики... Они сбегают туда уже даже не в поисках телесных ощущений. В хмуром грязном переходе они стоят, грубо толкаясь друг с другом, выпивая омерзительное мондиалистское пиво. И это происходит постоянно. Они уклоняются от всякого прикосновения к ним смысла для какой-то страшной, действительно демонической акции. Не хулиганской или аморальной, а для акции полностью лишенной какого бы то ни было содержания. Или телезрители — еще одна «профессия» современной России. Это люди, умеющие смотреть телевизор «по-настоящему». Это предел. Если бы такой человек предстал перед объективной картиной бытия, перед «книгой бытия», то ему бы там не нашлось места, его туда не вписали бы, забыли бы вписать.)

Конец субъекта

Итак, мы видим, как *субъект растворяется*. На это традиционалист скажет: «Я вижу этот процесс, фиксирую его, он мне не нравится, я против него, но все это закономерно». Когда субъект растворится до состояния точки, по мнению Традиции, произойдет Конец Времен. Тогда обнаружится подлинная, циклическая структура реальности. Цикл, во время которого Яйцо Мира открыто сверху, потом закрыто, потом открыто снизу, заканчивается, и происходит фантасмагорический момент *переворачивания* этого Яйца, и мир начинается заново. Начинается новый золотой век, но человечество,

живущее *перед* точкой поворота, не входит в наследие будущего, оседает и распыляется в лабиринтах постмодернистской энтропии по эту сторону. Падшее человечество полностью исчерпывается, поскольку оно живет на векторе тенденции нисхождения, соответственно, дойдя до нижнего предела, когда осуществляется поворот, это человечество просто исчезает в вечных сумерках и начинается *новое человечество*, новый цикл. Или — с христианской точки зрения — происходит Второе Пришествие, Божество обнажает свою полноту и время исчезает, цикла больше нет, а те, кто были увлечены потоком деградации, просто гибнут за нижним порогом реальности. Эти люди продемонстрировали свою ничтожность, и не найдя записи в списке жизни, память о них стирается, и их нет, они даже не в аду, они выброшены во тьму кромешную (вспомните слова «Евангелия»: «Если соль испортится, ее выбрасывают во тьму кромешную»). Там раз в вечность пролетает свиная голова, хрюкающая, подмигивающая, скрежещущая зубами. Петросян проползет изредка со своей идиотской улыбкой, и потом опять вечность... Иногда из дальних комнат ада раздастся угрюмый аккорд Окуджавы, отправленного на самое дно... И всё — этот цикл закрыт.

«Победитель Бога и ничто» как ось моей философии

Однако Ницше говорит, что «сверхчеловек есть победитель Бога и ничто». Почему возникает эта фигура сверхчеловека, в этот традиционалистский контекст никак не вписывающегося?

В Традиции обнаруживается фигура Спасителя, победителя конца времен. Но это не сверхчеловек, потому что онтология Спасителя, безусловно, трансцендентна, она не прорастает из этого «рассеивающегося» субъекта. Это *иное, нежели рассеивающийся в Кали-Юге субъект*,двигающийся в сторону Маши Ржевской; это принципиально иное по отношению к основной линии развития

человеческой истории. Человеческая история идет к ничто, дальше она никуда не идет, она заканчивается на этом. Так что же это за фигура сверхчеловека, о которой говорит Ницше?

Уже 26 лет я размышляю только об этой фразе. О ней я написал первую свою программную статью по-французски «Сверхчеловек». Потом как комментарий к этой статье родилась неизданная книга «Тамплиеры иного», потом как комментарий к этой неизданной книге появилась книга «Пути Абсолюта», потом я думал, что всё теперь будет совсем понятно, но всё оказалось предельно сложным. Потом я стал писать комментарий к каждой своей предыдущей книге. Вот, например, ироничный культурологический «Поп-культура и знаки времени» — комментарий к «Основам геополитики» и «Философии традиционализма», а «Русская Вещь» (в первом половинном издании «Тамплиеры Пролетариата») -- заметки относительно национал-большевизма, как экстравагантной версии Консервативной Революции; а книга «Консервативная Революция», в свою очередь, иллюстрирует применение традиционалистских идей к социально-политическим идеологиям. «Философия Политики» систематизирует «Русскую Вещь» в ее политологическом аспекте, а учебник «Обществоведения» доносит все эти идеи до уровня российских школьников. «Конспирология» -- шаг в ту область, где традиционализм перекрещивается с теорией политических заговоров, а «Гиперборейская теория» исследует символизм Традиции и теорию «нордического происхождения», которую разделяли Генон и Эвола. Книга «Мистерии Евразии» применяет принципы сакральной географии к пространствам России, а «Метафизика Благой Вести» уточняет то, как традиционалистские идеи соотносятся с православной религией. Но все эти перекрестные круговые комментарии, уточнения, развития отдельных тем и возврат на разных уровнях к изначальным интуициям и сюжетам, возвращаются так или иначе (эксплицитно или имплицитно) вокруг темы сверхчеловека и написанной в ранней юности статьи с тем же названием. До сих пор я всё упрощаю и упрощаю, развиваю и комментирую, этот небольшой, написанный мною по-французски в 20 лет текст, толкуя его, приводя дополнительные сведения и цепочки рассуждений.

Метафизическое видение

Идея сверхчеловека привносит в картину растворения субъекта совершенно *новое измерение*, которого в традиционной антропологии и метафизике *нет*. Как бы Традиция ни описывала этапы деградации мира, она, безусловно, видит это как негативный процесс. Когда эта деградация достигает максимальной степени, начинается новый цикл. А вот в идее сверхчеловека мы обнаруживаем *другое*. Сверхчеловек — победитель Бога, то есть он тот, кто отказывается от открытости Яйца Мира сверху. Можно было бы подумать, что это деструктивный персонаж, противостоящий бытию и сакральности.

Но он же одновременно является *и победителем ничто*. Но как он может быть победителем ничто, если, убивая Бога, он открывает стихию ничто, и эта стихия настолько фундаментальна, что по всей логике должна была бы его победить? Так дело и обстоит с позиции традиционалистов. Мы видим, что в постмодерне ничто необратимо побеждает субъекта, человека, и захлестывает его.

Размышляя на эти темы, в какой-то момент меня посетило, если угодно, *метафизическое видение*, предопределившее строй моей философии. Термин «видение» здесь представляется единственно адекватным, потому что это не были мысли. Мыслистроены иначе. Это было именно метафизическое *видение*. Я увидел следующую картину: процесс нисхождения помимо своего негативного содержания имеет некую *позитивную* телеологию, сверхцель. Сверхцель в этом видение открывалась как *испытание*.

Представим себе условия золотого века, когда Яйцо Мира было открыто сверху. Субъект жил в насыщенном сакральным эротизмом мире, где всё связано между собой — небо и земля, где существовало торжество вселенского брака, огонь и абсолютная полнота бытия.

Андрогинное существо — богочеловек — ходил, смотрел, посвистывал, писал руны на стенах храмов, жил в райском состоянии, не умирал... Легко же ему было, когда всё так хорошо! Где же его особое достоинство, если ему всё передали «за просто так», только потому, что он был сотворен ex deo, происходил от родителей-богов? (Между прочим, еще Платон считал себя правнуком Посейдона.) Если тебе задаром предложили божественную реальность и королевское место в ней, ты-то чем хорош? И вот ходил-ходил такой человек, и полнота его бытия заставила это высшее существо, подчиняясь какой-то очень тонкой логике, пойти на эксперимент: «А вот сохраню ли я это достоинство, которым я наслаждаюсь, царское достоинство в райском бытии, если, например, я спущусь куда-то пониже? Например, туда, куда нельзя спускаться?»

Не то, что бы он был непослушный, но он сказал себе (я *видел*, как это происходило): «А если я спущусь туда, насколько мое внутреннее качество останется по-настоящему царским, и смогу ли я существовать вне райских условий, сохраню ли я свое райское достоинство?» Кстати, это ход мысли, очень близкий Бодлеру, писавшему о «кусочке небесной лазури», падшем в свинцовые воды или об «ангеле, плененном любовью к уродству»⁽¹⁾.

Очарованный ангел

И действительно, дальше началось самое худшее. Когда субъект «спустился», закрылось Яйцо Мира, и он оказался в «концентрационной вселенной», в темнице, где его телесность приобрела характер необратимости, он стал смертным и страждущим, беззащитным, дрожащим, подверженным пыткам, наказаниям, голоду, холоду, страху, в принципе, для него началась совсем другая история. И вот здесь возник обнаружилось следующее: на каждом этапе падения для субъекта оставалась *возможность возврата*. Какая-то

часть этой субъектности пыталась возвратиться к предшествующим состояниям, а какая-то часть настырно говорила: «Нет, я всё-таки поищу еще пострашнее. Мое достоинство состоит в том, чтобы дойти до конца и понять вкус последней бездны».

И тогда он – *добровольно!* -- делает шаг в сторону постмодерна, в сторону открытия Яйца Мира снизу и начинает трепетно и жутко ощущать себя на самом последнем дне реальности. (В наших реалиях - в мире глобального американского контроля или в послереформаторской России).

Дальше наступает момент, когда *субъект почти слился с внешними сумерками*, стал уже сам от них неотличим -- он смотрит телевизор, жует, загорает на пляже, бродит по интернету.. Всё! Создается впечатление, что он ничем не отличается от остальных окружающих его «бесовских коллективов», с которыми он на различных уровнях интегрирован. Подходит к концу цикл испытаний этого существа. И тонкость всей ситуации заключается в том, что, будучи практически неотличимым от постчеловеческого пейзажа постмодерна, Мирового Яйца, открытого снизу для гогов и магогов, он всё же *фундаментально от них отличен!*

Но он отличен не теми качествами, которыми он обладал в эпоху золотого века, а совершенно *по-иному, трудноуловимо и чрезвычайно subtilно*. Формально он полностью уравнен с демоническим, апокалипсическим миром, и его отличие носит *неочевидный* характер.

Эта история странствий субъекта не совсем согласуется с традиционалистским взглядом. Классический традиционализм ни на чем подобном своего внимания не фиксирует. Традиционалист всегда утверждает следующее: *от современности надо как-то спасаться*. Он говорит: «Назад надо. Куда же мы попали?! В какую передрыгу! Ползем назад немедленно! Не можем? Не пускают? Не получается? Все равно! Будем карабкаться, стараться.. Только вон отсюда, прочь...». Обычный традиционализм предлагает *возвращаться* -- даже если это невозможно. Назад! – вот его главный и абсолютный приказ.

И это хорошо, это героично. В этом притягательность, волшебное обаяние фундаментального консерватизма. Но понимая весь пафос, и всю героическую мощь это призыва, какая-то часть описанного субъекта *упорно идет в другом направлении*. -- Не в сторону возврата.

Сон, в котором дом сгорел в обратную сторону

Что ищет это существо, что оно пытается доказать, чего стремится достичь? Очень трудно сказать.

Из видения стало ясно только то, что эта тенденция называется «Радикальным Субъектом». Радикальный Субъект -- это субъект, не теряющий своей субъектности не только тогда, когда абсолютные условия существования и мира поддерживают и укрепляют его, но и в прямо противоположных условиях. Это огонь, который горит и тогда, когда есть костер, и тогда, когда костер потушен – *когда костра нет*. А он *всё равно* горит.

Но как может гореть огонь, когда костер залит?

Это очень странное ощущение. Однажды мне снилось, как горел мой дом. Но горел он задом-наперед. Вначале было огромное пламя, а потом оно постепенно ушло в материю, и дом оказался абсолютно целым. Я говорил об этом с Головиным. Он сказал, что это очень важный герметический сон, показывающий существование того, что в герметизме называется *огнем философов*. И этот загадочный огонь, горящий, когда нет костра, когда костер залили, и он потух, это, конечно, *другое* пламя, *другой* жар, нежели обычное пламя.

И здесь возникает следующая чрезвычайно рискованная идея: не есть ли весь циклический процесс деградации от золотого века к железному лишь второстепенным следствием авантюры Радикального Субъекта, который порождает различные антуражи сгущающегося ада в своем

странном и, возможно, предосудительном стремлении испытать себя дном реальности?

Дойдя до дна реальности, он окажется в конфронтации с абсолютно не-собой. Если есть возможность деградации, то она есть и в золотом веке, и Радикальный Субъект, идущий в сторону железного века, *создающий*, по сути, железный век, *способствующий* установлению нормативов Кали-Юги и постмодерна, сам этот Радикальный Субъект стремится утвердить нечто абсолютное и радикальное в самом себе, что целиком и полностью *не зависит* от тех райских условий, в которых его царская природа была очевидной. Иначе говоря, он доказывает свою царскую природу не в том состоянии, когда он сидит во дворце, а когда он обличается в ризы свинопаса, трубочиста, нищего, урод⁽²⁾.

Если Радикальный Субъект был настоящим автором закрытия Яйца Мира сверху и открытия его снизу, то он действительно должен стать не только победителем Бога, но и *победителем ничто*. «Победитель ничто» в данном случае означает, что приветствуя наступление последних времен, Радикальный Субъект не отождествляется с этой стихией. Будучи формально одним из демонических коллективов, которыми насыщен мир перед своим неизбежным и близким концом, он фундаментально, радикально и совершенно страшным, бездонным онтологическим образом от этих существ *отличен*. Он является дифференцированным человеком (по Эволе), «обособленной личностью».

Но Радикальный Субъект — это не Тот, кто воскресит, восстановит, вернется, а *тот, что докажет совершенно недоказуемое, невозможное, не подлежащее доказательству*; кто подтвердит, казалось бы, исключенную сохранность достоинства абсолютной самоидентичности в ситуации, принципиально не допускающей такой сохранности.

Этому как раз и была посвящена моя первая ненапечатанная книга «Тамплиеры Иного», где я, пользуясь мифологическим, философским,

мистическим, социологическим, политическим, психологическим и феноменологическим инструментарием, описываю замысел Радикального Субъекта, дожидаящегося десакрализации мира для того, чтобы утвердить себя в чистоте нестигаемого, самотождественного и абсолютно всепобеждающего духа. Стало быть, это дух, которому нравится материализм, ему нравится материя, потому что он бросает ей вызов. Ему даже меньше нравится идеализм, потому что он для него очевиден. Дух ищет предельного и самого страшного испытания в самой толще материальных, адских вод. И там он утверждает свое собственное достоинство и свое собственное несравненное превосходство.

Постсакральная воля

Я предложил некоторые формулы для описания, сопровождающего Радикальный Субъект.

Во-первых, это -- *постсакральная воля*, воля, не исходящая извне, не исходящая из Традиции. Это воля, совершенно не предусмотренная в религиозном контексте, которая исходит из самого Радикального Субъекта и обращена на него самого, это -- воля к его немедленному и самовольному пробуждению. Смысл постсакральной воли в том, что она не проистекает из мира внешней Традиции. Она возникает тогда, когда Традиции по сути дела нет, когда произошло не только сокрытие парадигмы премодерна, но и даже конец парадигмы Модерна, когда осуществился переход к самой страшной фазе — парадигме постмодерна. Ничто не пробуждает Радикального Субъекта, кроме его постсакральной воли.

Невозможная реальность

И пробуждаясь, он творит *невозможную реальность*.

Еще одна особенность этой специфической новой метафизики, постметафизики, или метафизики сверхчеловека заключается в том, что эта *реальность невозможна по определению*, потому что она не предусмотрена нигде и никем. По расписанию у драмы мира сейчас последний акт. Больше ничего не должно произойти. И вдруг, *за секунду до окончания* спектакля начинается нечто новое. Все посмотрели балет, уже все шуршат стульями, доигрывается последняя партия, и тут вдруг без предупреждения начинается *опера*, которая никак не может и не должна была бы начаться. Но ... что это? Актеры на сцене начинают петь, потом опера перерастает в драматически2 спектакль, потом в рок-н-ролл, и ошарашенная публика говорит: «Этого не может быть! Спектакль должен давно закончиться по всем правилам». Буфет закрылся, метро закрывается, билеты кончились, окна в городе потухли, на улице ни одной машины... Но здесь действие в полном разгаре... Происходит что-то, чего не может произойти в нормальном театре, чего не бывает в жизни... Однако, это происходит. Вопреки всему. Таков образ невозможной реальности.

Невозможная реальность триумфа Радикального Субъекта невозможна не по причине каких-то материальных препятствий или скептических анализов политологов, с этой точки зрения, всё возможно. Нет, невозможная реальность говорит о своей невозможности перед лицом метафизических представлений о возможности или невозможности. Это действительно вообще не заложено в логику цикла, и именно поэтому она должна наступить, *и не благодаря чему бы то ни было, а вопреки всему* -- тотально всему. «Всему» не только с точки зрения гиблого человечества, но и с точки зрения метафизической логики устройства Яйца Мира. Там не запланировано ничего, кроме этого переворота.

Невозможная реальность — это не переворот, это что-то принципиально иное, это метафизический срез, который не заложен в

описания традиционных сценариев развития — или пульсирования — бытия.

Но именно такая необычная, неожиданная метафизика является центром нашего духовного дела. Это -- то внутреннее и священное, пост-священное (постсакральное) измерение, которое еще глубже, чем наш традиционализм и наша борьба против современного и постсовременного мира. Поэтому схватить этот элемент очень трудно.

Конец проклятому Совдепу

В своей жизни я пережил несколько потрясающих явлений. В 1982 году, когда я был совсем молодым человеком, я написал песню, где были такие слова: «Конец проклятому Совдепу уже не за горами». Когда я пел ее, она нравилась только Головину. «Конец проклятому Совдепу» звучало в 1982 году как полный бред, потому что Советский Союз стоял мощно, неподвижно, и казалось, тот, кто в него плюнет, просто мгновенно сгинет. Но я понимал внутренне, что у этой железобетонной конструкции сгнила основа. Ее просто не было, этой основы. Я понимал, что эта огромная свинцовая машина на самом деле зиждется на ничто. И тогда я, вначале немножко наивно, а затем увереннее сказал: «Смотрите — это же всё вот-вот рухнет...» В 1982 году!

Эти куплеты были очень парадоксальны. Там дальше пелось, что когда Совдеп закончится, начнутся хорошие, новые времена, наступит конец Кали-Юги. Для меня всё это было обосновано, я видел советский эон как финальный, и понимал, что он вот-вот кончится. Никому в здравом уме в 1982 году не могло бы и представиться, что это когда-нибудь кончится, говорили, что всё стоит вечно. Это не то, что нынешние времена, путинская Россия, действительно, дунешь — и развалится.

Там всё навечно было, и эта вечность просто исчезла куда-то как химера, как галлюцинация, как наваждение.

Казалось, что демократы со своим Соросом, будут в России серьезно и надолго, за ними атлантизм, за ними Америка. Но я вижу с удивлением, как тот же самый набор говорящих, гавкающих голов либералов ельцинской эпохи сегодня шепеляво и картаво повторяет (пусть искаженно и уродливо) наши идеи, на глазах мимикрируя, как какие-то инопланетные животные, влезшие в человеческую кожу .

Невозможное неизбежно

Трудно себе поверить, что мы — коллектив людей с такими экстравагантными, резкими, нонконформными взглядами, -- реально начинаем побеждать, и творить наш мир. Этого тоже раньше представить себе практически невозможно. Но я был всегда уверен, что так оно и будет. Вопреки всему, и не благодаря ничему.

Я хочу закончить тем, что абсолютно убежден в фундаментальности, необратимости и победе нашего дела. Нет инстанций, которые могли бы что-то изменить в необходимом, неизбежном и невозможном одновременно триумфе наших идей, наших позиций и нашей борьбы, поскольку всё это до беспредела, до бездны, до высшего верха, до самого низшего низа фундаментализировано невероятной интуитивной, не до конца понятной никому из нас, не могущей быть до конца понятной, истиной о Радикальном Субъекте.

Сноски:

- (1) Charles Beadelaire «Les fleurs du mal». LXXXIV

L'Irrémédiable

I

*Une Idée, une Forme, un Etre
Parti de l'azur et tombé
Dans un Styx bourbeux et plombé
Où nul oeil du Ciel ne pénètre;
Un Ange, imprudent voyageur
Qu'a tenté l'amour du difforme,
Au fond d'un cauchemar énorme
Se débattant comme un nageur,
Et luttant, angoisses funèbres!
Contre un gigantesque remous
Qui va chantant comme les fous
Et pirouettant dans les ténèbres;
Un malheureux ensorcelé
Dans ses tâtonnements futiles
Pour fuir d'un lieu plein de reptiles,
Cherchant la lumière et la clé;
Un damné descendant sans lampe
Au bord d'un gouffre dont l'odeur*

*Trahit l'humide profondeur
D'éternels escaliers sans rampe,
Où veillent des monstres visqueux
Dont les larges yeux de phosphore
Font une nuit plus noire encore
Et ne rendent visibles qu'eux;
Un navire pris dans le pôle
Comme en un piège de cristal,
Cherchant par quel détroit fatal
Il est tombé dans cette geôle;
Emblèmes nets, tableau parfait
D'une fortune irrémédiable
Qui donne à penser que le Diable
Fait toujours bien tout ce qu'il fait!*

II

*Tête-à-tête sombre et limpide
Qu'un coeur devenu son miroir!
Puits de Vérité, clair et noir
Où tremble une étoile livide,
Un phare ironique, infernal*

*Flambeau des grâces sataniques,
Soulagement et gloire uniques, -
La conscience dans le Mal!*

Подстрочный перевод с французского:

Неизлечимый

*Идея, Форма, Бытие,
Частица лазури, упавшая
В пузырящийся и свинцовый Стикс,
Куда не проникает глаз Небес;

Ангел, неосторожный путешественник,
Который соблазнился любовью к уродству
На дне бесконечного кошмара,
Барахтающийся как пловец,

И сражающийся, о как мрачна тревога!
Против гигантского вала,*

*Который идет, напевая как безумные и
Делая пируэты во мраке;*

*Заколдованный несчастный,
Тщетно пробирающийся наощупь
Из места полного рептилий,
Ищущий света и ключа;
Проклятый, спускающийся без лампы
К берегу бездны, чей запах
Выдает влажную глубину
Вечных ступеней без перил,*

*Где поджидают липкие чудовища,
Чьи огромные фосфорисцентные глаза
Делают ночь еще более черной,
Так в ней видны только они сами;*

*Корабль, вмерзший в полюс
Как в кристаллическую ловушку,
Гадающий: через какой фатальный пролив*

Он попал в эту темницу;

Прозрачные символы, совершенная картина

Неизлечимой участи,

Которая дает понять, что Дьявол

Всегда отлично справляется с тем, что он делает.

II

Лицом к лицу темное и светлое

Как сердце, ставшее своим зеркалом!

Колодцы Истины, светлый и черный,

Где дрожит бледная звезда,

Ироничный маяк, адский

Факел сатанинских благ,

Уникальное облегчение и уникальная слава

- Сознание во Зле!

(2) История царевича Гаутамы покинувшего дворец и ставшего монахом и Буддой, и его аналог в православной традиции в образе царевича Иосафа – дают примеры такого решения.

Глава 10. НОВАЯ ПРОГРАММА ФИЛОСОФИИ

Человек и мир. Кажется, что такая постановка вопроса уместна во все времена. Однако все гораздо сложнее. Человек - это не утверждение, это вопросительный знак. Человек? Да-а-а-а? Разве? А человек ли по существу? На самом деле? Вы так в этом уверены?

В разные времена под "человеком" понимали весьма различные вещи. То ли ступень восхождения животного, то ли порог нисхождения ангела... *Человек -- это звучит странно...* Человек...

Мир. Некогда с этим тоже было все понятно. Хотя опять же как сказать, как сказать... Даже слово "мир" -- немецкое "Welt", французское "monde", арабское "dunya" и т.д. -- в разных языках отсылает нас к разным вещам. Но всегда, тем не менее, имеется в виду нечто цельное, всеобщее, всеохватывающее...

Современный французский философ Марсель Конш писал, что сегодня "мир более не мир, но экстравагантный ансамбль". Значит, и эта очевидность размыта... Явно мы имеем дело не с целостностью, но с мозаикой осколков, из которых сложить законченную картину никак не получается -- все время чего-то не хватает или что-то явно лишнее...

Вечная тема -- "человек и мир" -- теперь формулируется иначе -- "Человек? и мир?", где схлестываются две неопределенности: Внутренняя неопределенность и внешняя... Совсем недавно труд наделения человека и мира четкой идентичностью брали на себя идеологии -- человек коммунизма был чем-то вполне конкретным, описанным, учрежденным. Равно как и мир истмата и диамата был

досконально изучен и сертифицирован -- свобода выбора размещалась в четко очерченных рамках. Другие идеологии -- религиозные, национальные, демократические -- давали иные модели, с иными пропорциями и структурами, но везде и всюду "человек" и "мир" были довольно подробно и тщательно осмыслены, определены.

Но это время ушло -- когда западнический либерализм окончательно победил советский лагерь, в борьбе идеологий была поставлена точка. Вначале казалось, что либерально-демократическое учение о человеке и мире теперь стало универсальным и общеобязательным в планетарном масштабе. Но произошло нечто иное. Оставшись без глобального противника, соперника и оппонента, западный мир немедленно захлебнулся в своей собственной неопределенности. В последние десятилетия "холодной войны" стройность буржуазной системе придавала только геополитическая необходимость идеологического противостояния с марксистским СССР и его сателлитами. Философски Запад не был готов к победе, он ожидал затяжной идейной дуэли, и стремительное исчезновение врага застало его врасплох. Оставшись в одиночестве, западный человек смутился, растерялся, захлебнулся валом мыслительных галлюцинаций, где прошлое и настоящее, случайное и первостепенное, фундаментальное и поверхностное, мужское и женское, серьезное и насмешливое безотзывно перемешаны.

Запад навязывает сегодня не свою систему, но свою бессистемность, не свою очевидность, но свое сомнение, не свое утверждение, но свой глубокий внутренний кризис.

Когда мы включаемся в глобальную сеть, мы не получаем новой идентичности и не вступаем в контакт с новым миром. Мы просто сдаем безвозвратно в камеру хранения с забытым шифром остатки того, что делало нас теми, кем мы были раньше, и той реальности, в которой мы раньше пребывали. Действие сбрасывания старых определенностей (и определений) вполне конкретно: это паспорт в "новые времена", кредитная карточка соучастия в глобализме; это общеобязательное требование, и все отвергающие эту "инициацию в

глобализм" автоматически попадают в черные списки -- отныне они агенты "оси зла"; ведь они не вняли "новейшей вести" -- *мир и человек умерли* (вслед за Богом).

Но взамен -- ничего. Не то чтобы совсем ничего. Мелькание кадров, цветных рыбок, полуодетых фигур, пенная роскошь шампуней и мягкая слюна океана... Вас рассосали в непрерывных снах постреальности, и ваше дело отныне - лишь щелкать кнопками пульта...

Все цельные слова и фразы распались на множество блестящих осколков -- нам интересны лишь междометия и оговорки, остроумное мычание и удачные дразнилки. Мир, где пародирование пародиста доставляет массовое наслаждение, не имеет права называться миром. Это -- что-то из другой системы вещей.

Когда мы распознаем в себе нарастающее слепое несогласие с таким положением дел, автоматически мы бросаемся к прошлому -- к тому времени, когда мир и человек были фиксированными и вполне определенными реальностями. И тут нас фасцинирует и вдохновляет все: церковность, монархия, советизм, национализм, даже демократия в ее скромно-реалистическом, начальном (индустриальном) варианте - где еще есть решение и выбор, труд и заработок, риски и законы формирования стоимости. Однако это не выход, так как если нечто -- даже очень хорошее - исчезло, значит, в этом был какой-то высший смысл...

Если мы сможем встать и распрямиться в потоке ласкового, аппетитного и быстрого ничто, хлещущего на нас со всех сторон, мы поймем: что-то огромное и великое, надежно скрытое в самых отдаленных норах бытия посылает нам -- именно нам -- *новые лучи*. Если человека и мира больше нет, выходит, они не так уж и значимы в последнем счете, выходит, можно и без них. Выходит...

Я выдвигаю новую программу жизни: *смотреть на то, что вокруг нас, не щуря глаз, не оборачиваясь назад*. Обреченность, от которой

человек пытался укрыться, настигла нас в последний момент истории. Хорошо же, мы поняли урок.

Что-то страшное открывается в наших телах, распускаясь, как цветок, что-то черное... И из последних горизонтов мрака тянутся навстречу красному сердцу дрожащие лепестки внешнего сознания: подозрения, догадки, молнии безусловного...

В бессердечном, замаскированном космосе мы должны строить новые плотины жизни, доставая искры присутствия из-под последних скорлуп взятого в кредит прозрения...

Новая программа философии состоит в том, чтобы упорно идти вперед, когда пути вперед нет и не может быть.

Приложение

"Помешанное со свиньей"

(интервью журналу "Человек" по мотивам статьи "Новая программа философии")

Вопрос "Человека": *“Человек, - говорите Вы, - это не утверждение, это вопросительный знак”. Если он создан по образу и подобию ... можем ли мы не брать в расчет это изначальное определение человека?*

Дугин: А что, Божество, по образу и подобию которого создан человек, это что-то само собой разумеющееся и очевидное? Это тоже вопросительный знак. В каббале вопросительное местоимение “*ма*”? , т.е. «что?» на иврите, осмысляется как одно из имен Бога. С другой стороны, человек это медиатор, посредник между небом и землей, зверями и ангелами, а следовательно, он всегда балансирует над двумя

безднами – вспомните, «бездна призывает бездну» -- *abissus abissum invocat*. Это место из Псалтыри я сделал motto своей музыкально-философской программы «Finis Mundi»... Иными словами, мы «берем в расчет это изначальное определение человека», но где же в нем утвердительное? Не новая ли это загадка? И наконец, если мы уж настаиваем на таком определении, то мы должны дальше беседовать в богословском контексте традиции – в частности, Православия, и вся антропология у нас будет соответствующей. Подробнее эти темы я развивал в книгах «Метафизика Благой Вести» и «Философия традиционализма», где много о православной антропологии.

Вопрос "Человека": *Сегодня нетрудно согласиться с Вашим определением, что "человек – это звучит странно", принимая во внимание трансвеститов, пробирочных детей, клонирование... Для Вас лично человек – это...*

Дугин: Для меня лично человек это *богоподобное световое существо, смешанное с агрессивной взбесившейся свиньей*. В другом месте («Философия традиционализма») я даю иное определение – *«человек есть неточное движение возможного»*. Кроме того, следует разделять минимальное понимание человека (минимальный гуманизм) и максимальное («максимальный гуманизм»). По этому поводу в моей книге «Русская вещь» есть статья про «максимальный гуманизм». Человек за счет своей неопределенности может скрывать под личиной – персоной, маской, двуногой формой -- *очень разные реалии*, подчас полярные. Я думаю, что люди радикально, фундаментально, качественно, природно и духовно *неравны*. Их сближает упаковка, содержание же фундаментально различно. Сходство в ризах кожаных, эпидермическом плаще, но что в них завернуто... Это всякий раз следует исследовать заново и тщательно. Человек обязан доказать, что он человек, и уточнить: какой именно? До этого, это просто кредит, вексель.

Вопрос "Человека": *."Сбрасывание старых определенностей и определений вполне конкретно" – говорите Вы. Значит ли это, что мысли можно сбросить, как одежду или ее срывают с человека?*

Может ли человек привыкнуть быть голым, стать “голой обезьяной”?

Дугин: Я имею в виду следующее: ранее идентичность человека вытекала из Традиции, которая постулировала, что под этим понимается. Потом модерн, ниспровергающий Традицию, предложил свою во многом нигилистическую либерационную антропологию, освобождающую человека от связей с традиционными параметрами идентичности. Но и этот нигилистический пафос исчерпал свой потенциал «очевидности». Процесс освобождения человека от влияния нечеловеческого в целом завершен, но осталась чистая пустота и неопределенность, постмодернистическая игра эфемерных мгновенных принципиально заменяемых идентичностей. Напомню, что Джек-патрошитель, мистик-убийца с масонским бэкграундом, считал, что расчленение уличных девок Лондона призвано открыть парадигму XX века. Это была глубокая символическая мистерия. О метафизике преступления смотрите также мои статьи «Положи свое тело в осоку», «Тело как представление» и «Солнечный человек» в «Русской вещи». Так вот, освободившись от идентичности, навязываемой антропологией Традиции, человек утратил вместе с этим и цельность, холистичность. Он расчленен сегодня. Сейчас он то, через минуту другое. Отсюда и стилистика культуры, телевидение (щелканье кнопок каналов как особая форма созерцания – внимание останавливается на фрагменте, ярком образе), наркотики, они погружают человека в серию бессвязных но насыщенных импульсов, без контекстуализации. Отсюда извращения, которые также актуализируют мгновенно и бессистемно фрагменты подсознательных влечений, затонувших архетипов и т.д.

Когда человек становится голым, свободным от внешних антропологических суггестий, он становится мертвым и расчлененным. Обезьяна жива, холистична. Человек постмодерна, мертв и фрагментарен. Он много ниже и гаже обезьяны.

Вопрос "Человека": *Голая обезьяна, стремящаяся к глобализму, слишком страшный образ. Вы думаете, ей под силу “новая программа*

философии”?

Я люблю обезьян, и ужасаюсь современным людям, последним людям по Ницше, которые впитывают глобализм. Мне претит такое сравнение. Животные не пали, они не знают отступничества. Как и природа. И природу и животных загадили люди. Новая программа философии под силу световому человеку, атомы которого растворены в сегодняшнем котле, как части Диониса, разорванного титанами. Ницше обращался своим «Заратустрой» к «никому». И его многие услышали. Есть *идея эсхатологического собора световых капель*, рассеянных в мире, им нужна «новая программа философии». Она им будет внятна. «Новая программа философии» - экстремальная форма обращения к зерну Традиции, к Радикальному Субъекту в ситуации, когда вся внешняя среда этому не только не способствует, но жестко препятствует. Новая программа философии предлагает развеять иллюзию черного предела, в который лбом уперлось человечество, пройти сквозь стену, взлететь на собственных крыльях на последнем вираже в миллиметра от дна бездны.

Вопрос "Человека": *Ваша новая программа философии – это разрушение, воссоздание или одежда для “голой обезьяны”? Каковы ее основные положения?*

Дугин: Ни то, ни другое, ни третье. Это -- программа и проект. Основные положения:

Шаг1. Постигание катастрофичности современной онтологии и антропологии, уяснение максимы Хайдеггера «старые боги ушли, новые еще не пришли», «Точка полночи».

Шаг2. Ретроспективное прослеживание траектории сумерек, точная генеалогия дегенерации человечества.

Шаг 3. Саморефлексия субъекта, который проводит эти две операции (Шаг 1 и Шаг 2), точное и корректное выяснение мотивации и произвольности (волюнтарности) его онтологического статуса.

Шаг 4. Осознание постсакральной воли, которая тайно движет этим процессом и и направляет его.

Шаг 5. Расшифровка сверхзадачи, заложенной высшим началом в процесс деградации, как испытание и очищение.

Шаг 6. Собираение затонувшего света.

Шаг 7. Концентрация постсакральной воли в «партии новейшего типа» и ее лазерное сгущение.

Шаг 8. Пробуждение нового огня, уничтожающего ветхую реальность. Остановка космических циклов. Рождение Радикального Субъекта. Начало *невозможной реальности*.

Вопрос "Человека": *Утешаться тем, что есть "высший смысл" в том, что нечто правильное и хорошее исчезло и заменяется пошлым и гадким – невозможно. Или абсурдно, если только не поверить, что этот абсурд – путь в другой смысл. В состоянии ли человек сегодня создать новые смыслы?*

Дугин: Человек сегодня утратил все, что имел. В первую очередь, смыслы. Сквозь истонченную его антропологию начинает выглядывать *иное*. И много худшее, чем он, и много лучшее. Человек в его конвенциональном значении, почти отменен. На его месте проявляется постчеловек. Соль растворена. Мы видим новые субстанции, обнаруживающиеся на его месте – океаны ртути и острые лучи несгораемой серы.

На повестке дня новые танцы и новые танцоры. Homo Novus, еще точнее, Homo Novissimus.

Вопрос "Человека": *Может ли новая программа философии звать в дорогу, когда, цитируя Вас, "пути вперед нет и не может быть"?*

Дугин: Может и должна. Исчерпаны старые пути и старые путники. Но есть те, кто умеет летать, кто, нося в душе хаос, способны родить

танцующую звезду. Их пути только начинаются. Ницше понимал неизбежность их прихода и относил к началу XXI века. Как раз все сходится, судя по календарю.

Вопрос "Человека": *Какие силы могут "составить" эту новую программу, к сознанию или "реву подсознательного" они могут апеллировать?*

Дугин: Программа составлена. Оно постепенно обнародуется. Движение есть, его присутствие в мире обозначено. Все под контролем. Есть и рев, и подсознательное, и соответствующая мозаика донных сил.

Вопрос "Человека": *Даже человек последних времен может найти (создать?) себя, постигнуть свое предназначение . А может ли действительно он сотворить новую программу философии?*

Дугин: Смотря какой человек.

Вопрос "Человека": *Какой в этом процессе, на Ваш взгляд, может быть роль наук о человеке, науки вообще? И религии?*

Дугин: Наука родилась как система догматов, отменяющих или, по меньшей мере, фундаментально реформирующих догматы религии. Поэтому «наука о человеке» -- это нечто слишком неопределенное. Религии имеют свои версии антропологии, и почти везде они считают, что человек приходит к концу времен к фундаментальному упадку. Поэтому религиозные антропологии в целом соответствуют тому взгляду, которого я придерживаюсь. Более того, мои взгляды основываются именно на религиозной антропологии. Поэтому ценность ее чрезвычайно важна.

Наука начала с того, что перечеркнула антропологию Традиции, отменила душу и т.д. Это совсем иная антропология, альтернативная и конфликтная. Наука – современная наука -- это антитеза религии. «Научная» антропология рассматривает человека как хитроумную машину. Вспомните Ламетри с его l'homme-machine, Декарта, Гарвея и

физиологическую школу, Локка с его *tabula rasa* и т.д. И либеральная и марксистская версии антропологии основаны на *отрицании души*. Они тоже показательны и только подтверждают эсхатологию Традиции: приходит время, когда человек забывает о своем световом достоинстве и *признает себя машиной*. Поэтому наука о человеке в ее современном аспекте – доказательство дегенерации человечества и апокалиптичности Нового времени. Постмодерн в антропологии и перспектива клонирования доводят эту линию до логического предела. В этом ничего нового: все приходит к тому, к чему должно было прийти. Вначале человек отвергает религию и отрицает душу. Потом признает себя автоматом. Потом начинает сам делать человекоподобных существ. Клон – это типичное «чудо антихриста». И современная наука о человеке последовательно ведет именно к этому.

Но «новая программа философии», основываясь на религиозной антропологии и доверяя только ей, рассматривает современную антропологию как важнейшее свидетельство об объективном процессе дегенерации. И не просто противопоставляет этому религиозную антропологию, но ставит перед собой вопрос: *для чего* полноценный человек Традиции превратился в современного уродца с гамбургером в зубах и телепультом в изнеженной тупостью лапе? И отвечает на это по-нищсеански – «человек есть нечто следует преодолеть».

Человек становится недочеловеком в ту же секунду, как он отказывается быть сверхчеловеком. И поэтому у него есть одна программа -- завершить антропологию вовсе, подвести под ней решительную черту. И «мы» (кто «мы»?) увидим новые горизонты, новую землю и новые небеса...

Вопрос "Человека": *Если "человека и мира больше нет...", выходит, можно и без них." Но мир без человека пуст, а человек без мира – страшен. Из чего же создать "новые плотины жизни"?*

Дугин: Новые плотины жизни надо ткать из золотых паутинок сверхчеловеческих интуиций, из затопленных городов древнейших антеделювиальных смыслов, из прозрачных континентов

недозволенного и исчезнувшего, из снежинок бесконечной радости, из выдубленной кожи того, кто не справился, из звездных слез, из нечеловека и немира, из чистого истока абсолютного бытия, для которого наши процессы пыль и ничто, и нужны лишь для размеренного божественного танца – по ту сторону и по эту сторону, потому что ни мира, ни человека нет и никогда не было... Только свечи и тени, и тонкие далекие звуки, зовущие наши хрустальные плавники в неизвестные им самим бездны. Которые призывают друг друга сквозь нас, помимо нас, *вместо нас*...

В глазе водопадов Твоих, *in voce cataractarum*.